

БЕРЛИН.БЕРЕГА

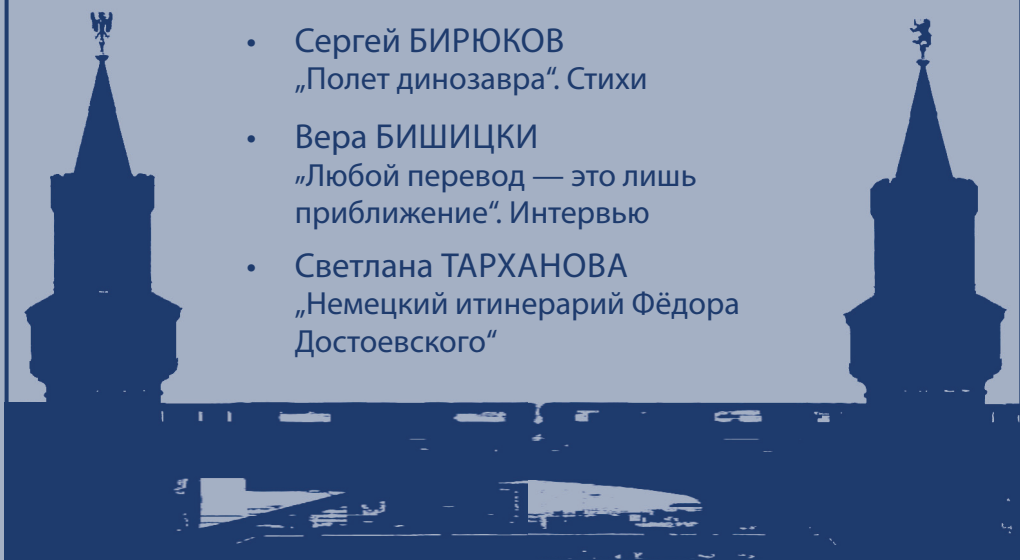
литературный журнал

№ 2 / 2016



В номере:

- Алексей МАКУШИНСКИЙ
„Остерго“. Рассказ
- Сергей БИРЮКОВ
„Полет динозавра“. Стихи
- Вера БИШИЦКИ
„Любой перевод — это лишь
приближение“. Интервью
- Светлана ТАРХАНОВА
„Немецкий итинерарий Фёдора
Достоевского“



Редакция / Redaktion:

Главный редактор/Chefredakteur: **Григорий Аросев / Grigorii Arosev**

Редакторы/Fachredakteure:

Поэзия / Poesie: **Женя Маркова / Genia Markova**

Переводы / Übersetzungen: **Эдуард Лурье / Eduard Lurje**

Связи с общественностью / Public Relations: **Мария Аросева / Maria Aroseva**

Художник / Illustrationen: **Лилия Лурье / Lilia Lurje**

Тексты на немецком языке / Deutsche Texte: **Герд Буссинг / Gerd Bussing**

Вёрстка / Layout und Satz: InterMedienCenter

Herausgegeben von der Redaktion der Zeitschrift

Журнал выходит при поддержке Владимира Юрьевича Круглова, директора компании «АРГОС» — оператора электронного документооборота.

Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.dnb.de> abrufbar

Diese Zeitschrift ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urhebergesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmung und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Gesamtherstellung: Simon Verlag für Bibliothekswissen,
Richlstrasse 13, 14057 Berlin, Deutschland
www.simon-bw.de / www.berlin-berega.de / berlin.berega@gmail.com

Druck und buchbinderische Verarbeitung
Buchbinderei Art-Druk, Stettin
ISSN 2366-3510

Copyright © 2016 Simon Verlag für Bibliothekswissen, Berlin
Copyright Texte © 2016 liegt bei Autoren
Alle Rechte vorbehalten

Содержание

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

АЛЕКСАНДР ЛАНИН — Цепь , стихи.....	5
НАТАЛЬЯ ХМЕЛЁВА — На острове , стихи.....	10
АЛЕКСЕЙ МАКУШИНСКИЙ — Остерго , рассказ.....	15
ДМИТРИЙ ВАЧЕДИН — Саратов-93 , рассказ.....	30
АЛЕКСАНДР ФИЛЮТА — Северный Веддинг , стихи...	38
СЕРГЕЙ БИРЮКОВ — Полет динозавра , стихи.....	42
БОРИС ШАПИРО — Умные птицы , стихи.....	47
ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВА — Глубоковский , рассказ.....	50
АЛЕКСАНДР МИЛЬШТЕЙН — Подстанция , фрагмент из повести «Тиновицкий»	60
СЕМЁН КОГАН — Грустно , рассказ	72
МАКСИМ КАШЕВАРОВ — Когда-то , рассказ	76

ДЕБЮТ

Семь лет одиночества. Вступление Дмитрия Вачедина	80
ЮЛИЯ ЕФРЕМЕНКОВА — Фрукт , рассказ	83
ДИНАРА РАСУЛЕВА — Закатный четверг , рассказ ...	87
ЕЛЕНА ЛАВИН — Шары и клоуны , рассказ.....	91

ПЕРЕВОДЫ

АЛЕКСАНДР ЛАКМАНН — Новый Колумб, или Несколько слов об одном сумасшедшем , эссе о Фридрихе Ницше.....	97
--	----

ПУБЛИЦИСТИКА И КРИТИКА

СВЕТЛАНА ТАРХАНОВА — Немецкий итинерарий Фёдора Достоевского с точки зрения искусствоведа	108
МАРК ХАРИТОНОВ — Драма Роберта Музиля, эссе.....	121
МИХАИЛ РУМЕР-ЗАРАЕВ — Право на публикацию. Из истории русскоязычной прессы в Германии.....	133
ВЕРА БИШИЦКИ — Любой перевод — это лишь приближение, интервью	140
ЭРДМУТЕ ЛАПП — Мудрый роман о любви, войне и разлуке, рецензия на книгу Лены Горелик <i>Null bis unendlich</i>	158

«Работа с языком — всегда работа с сопротивлением». Круглый стол при участии Л. Горелик, Д. Вачедина, Л. Гольдберг-Кузнецовой, И. Бондас, М. Нойберт, А. Филюты	162
--	-----

ТЕАТР

ВЛАДИМИР ЗАБАЛУЕВ, АЛЕКСЕЙ ЗЕНЗИНОВ — Русь немецкая, фрагмент из пьесы	173
Сведения об авторах	183
Kurze Zusammenfassung	190
Информация о подписке	194

Александр Ланин

Песни детства

Нас не били, не окружали,
Не цитировали на вынос.
Я не вырос на Окуджаве.
Я вообще ни на ком не вырос.

Я варился бы в их котле, но
Отливает луна селеном.
Поколение по колено,
Поколение — об колено.

Я пришёл в этот мир одесен
И иду по нему ошую.
Если мне не хватает песен,
Я пишу их.

Цепь

Неразумные птицы летят на юг, а разумные ищут тень,
Но когда все запреты летят на йух, погибают и те и те.
Караваны сбиваются с горных троп, и обрыв их, как жребий, крут.
И последние люди бегут в метро и сбиваются в тесный круг.

Неразумные твари ползут в ковчег, а разумные ждут огня.
Попытайся понять их, простить, прочесть, и найди среди них —
меня.

Дисотека открыта для всех гостей, у кого нет когтей и жал,
Но однажды туда проскользнёт метель на холодных кривых ножах.

И земля задымится, и встанет зверь, и асфальт обратится в лёд,
И у каждой из наших бумажных вер будет шанс завершить полёт.
И тогда наша жизнь — как игла в ларце, и на каждом её конце
Неразумные снайперы ищут цель, и разумные ищут цель.

Виртуальность

Я родился в нигде. Но не это всего странней.
Что нам карту порвать, что нам город с неё стереть.
Я вертел головой, обживаясь в чужой стране,
Как учёный дельфин, что в плену сохраняет речь.

А чужая страна притворялась своей страной,
Отдавалась легко, не пыталась рубить корни.
И сжимала меня, оттого становясь родной,
А когда отпускала, казалась ещё родней.

Я не вырос нигде, кроме разве моей семьи,
Кроме редких друзей, у которых давно дома.
Не считайте меня двуязыким, чужим, своим.
Я считаю до двух — на ладонях июль да май.

На Васильевском — пыль. Это я понукаю печь,
Уводя её прочь от избёнок, избей, избух.
Я решу, где мне жить. Я не знаю, куда мне лечь.
Если всё надоест, я приду умирать в фейсбук.

Волхвы и Василий

Когда поёживается земля
Под холодным пледом листвы,
В деревню Малые тополя,
А может, Белые соболя,
А может, Просто-деревню-бля
Хмуρο входят волхвы.

Колодезный ворот набычил шею,
Гремит золотая цепь.
Волхвам не верится, неужели
Вот она — цель?
Косые взгляды косых соседей,
Неожиданно добротный засов,
А вместо указанных в брошюрке медведей
Стаи бродячих псов.

Люди гоняют чифирь и мячик,
Играет условный Лепс.
Волхвы подзывают мальчика: «Мальчик,
Здесь живёт Базилевс?»
И Васька выходит, в тоске и в силе.
Окурок летит в кусты.
«Долго ж вы шли, — говорит Василий. —
Мои руки пусты, — говорит Василий. —
Мои мысли просты, — говорит Василий. —
На венах моих — кресты».

Волхвы сдирают с даров упаковку,
Шуршит бумага, скрипит спина.
«У нас, — говорят, — двадцать веков, как
Некого распинать.
Что же вы, — говорят, — встречаете лаем.
Знамение, — говорят, — звезда».

А Василий рифмует ту, что вела их:
«Вам, — говорит, — туда».
Василий захлёбывается каплем,
Сплёвывает трухой,
«Не надо, — шепчет, — лезть в мою кашу
Немытой вашей рукой.
Вы, — говорит, — меня бы спросили,
Хочу ли я с вами — к вам.
Я не верю словам, — говорит Василий. —
Я не верю правам, — говорит Василий. —
Я не верю волхвам», — говорит Василий
И показывает волхвам:
На широком плече широкого неба
Набиты яркие купола.
Вера, словно краюха хлеба,
Рубится пополам.
Земля с человеком делится обликом,
Тропа в святые — кровава, крива.
А небо на Нерль опускает облаком
Храм Покрова.
Монеткой в грязи серебрится Ладога,

Выбитым зубом летит душа,
А на небе радуга, радуга, радуга,
Смотрите, как хороша!

Волхвы недоумённо пожимают плечами,
Уворачиваются от даров.
Волхвы укоризненно замечают,
Что Василий, видимо, нездоров.
Уходят, вертя в руках Коран,
Кальвина, Берейшит.

Василий наливает стакан,
Но пить не спешит.

Избы сворачиваются в яранги,
Змеем встаёт Москва,

И к Василию спускается ангел,
Крылатый, как X-102:
«Мои приходили? Что приносили?
Брот, так сказать, да вайн?»
«Да иди ты к волхам, — говорит Василий. —
А хочешь в глаз? — говорит Василий. —
Давай лучше выпьем», — говорит Василий.
И ангел говорит: «Давай».

Впамять

Не бывает ни славы, ни пепла славы,
Только странные лица в чужом прицеле.
Убивают не слабых, а слишком слабых.
Выживает не сильный, а злой и цельный.

Со «скачи да рубай» не уйдёшь от танка.
Мой приятель клинком задувает свечи,
Но пока он строчит рубаи да танка,
Пулемётчики Будды штурмуют вечность.

Его кисть перебита, мольберт изранен,
В котелке пожелтевшая правда стынет.
Он стоит, незащищен, на тонкой грани —
Человек восходящий, в лучах латыни.

И под первые залпы уже верхом он,
И железную тварь обречённо рубит.
Уходи же туда, безымянный хомо,
Где освенцимских ангелов пишет Рубенс.

Где не будет ни славы, ни пепла славы,
Где отрезанный волос всё так же долгов.

Где когда-то студентом напутал с лабой
Нерадивый могущественный биолог.

Динозавры ещё не вымерли...

Динозавры ещё не вымерли. Ночь тиха.
Астероид напрягся и обогнул планету.
Кистепёрая рыба, не стоящая стиха,
Уползает обратно в Лету.

Над гуашью морей уныло ревёт Борей,
Птерожорливый ящер мчится ему навстречу.
Человек висит среди остальных зверей,
Оставаясь совсем без речи

Ни наук, ни имён, ни просто попытки встать,
Безымянные страхи, жёлтые взгляды камер.
К терапсидам, назад, от дубины своей устав,
Отпуская на волю камень.

Отведи мне покой, оставь для себя щипок —
Не открыв, не увидишь, кто в человеке заперт.
Как ребёнок лучась, улыбается спящий бог.

И будильник его внезапно.

Наталья Хмелёва

На острове

На острове каждый привык потрошить себе рыбу,
с чертами другого знакомиться больше на ощупь.
Торговец погодой предложит муссоны на выбор,
и ты примеряешь свой ветер почти еженощно.

Так круглые пятна сетчатку тревожили светом,
как будто писали на ней о забытом и главном,
и ты в океан на байдарке уходишь с соседом,
а он не рыбачит, а вдруг обращается фавном.

И мир успокоившись в сущем, не ведаёт боли
но ищет, как демон, своё изначальное имя,
и к вечеру кожа становится гладкой от соли,
и вечер такими нас, кажется, больше не примет.

Сегодня доброю рукою —
кто груз с груди моей снимает,
что неожиданно легко мне
в зиме узнать начало мая,
во льдине — скованное пламя,
в золе — начал своих мотив?
И бьется, бьется оригами
крылом бумажным охватив
три записи из дневника,
три года жизни неумелой —
неужто мамина рука
меня, слепую, отогрела?
И с миром заключая мир,
смотрю на тех, кто нас забросил

сюда, в наполненный людьми
трамвай, бегущий мимо сосен,
как будто вспомнили: лихая
не те творила виражи —
но стоит жить, не выдыхая,
и не мигая стоит жить.

Растепись своим путём к спасению,
как стебелек качаясь тонкий,
но холодна звезда осенняя
на утреннем своём востоке,
и синь легла в ладони веточкам,
протянутым, как древний хаос,
наверх — и впитываясь в клеточки
коры их, смотрит, что осталось:
из дня вчерашнего, свободного
здесь только сон приберегли.
Ты мир с плеча бросал мне под ноги —
а мне казалось, что — угли.

Погляди: смеющаяся
горошина
покатилась сердцем
по коридору.
Будущее открыто: она
без прошлого.
Смотрит — не участвует
в разговорах.
То — под стол! То, выкатившись
обратно,
падает на дно опустевшей
вазы,
что бы ни разбила —
не виновата

Где себя посещает — там всходит
сразу.
Среди пыльных книг затерявшись
на день,
всё равно находится
в доме том,
где пушистый кот ей
забавы ради
машет — как знакомой! — своим
хвостом.
Там восторг и страх, пауки,
пылинки,
и хозяйка спит — но следит
за нею,
ведь во сне светлее любимых
лики,
и во сне мы чувствуем их —
сильнее.

Когда бежишь, поймать пытаешься
начала собственного тень,
и яблока тугая завязь
иссохшая не опадает,
напоминая о питье,
и по судьбе передвигаясь
назад — вперёд, уже судья —
и заново в свой день войдя,
услышь, как праздники подкрались —
и в окна чистые глядят.
И — тишина. И дышит миг
полыню, брошенной настилом
на домотканый половик,
который время пощадило.

Город

Вот сон стоит как исполин:
история в словах застыла.
О, капли новые легли -
и ими пыль слегка прибило,
и паром пахнувший асфальт
(а здесь дожди и днём и ночью!)
не вопрошает: такова ль
судьба воды, хранящей почву -
а только бережно берёт
не больше, чем в него впиталось.
И собирает всё бельё
с балконов суетная старость.

* * *

Кругом вода, одна вода
и мы в ней дома, словно рыбы.
Не ты ли эти холода
лучами ломкими рассыпал,
и остаётся вглубь уйти -
но будто цельным, а не сирым —
и скользкой кожей ощутить
отсутствие границы с миром.
И тем труднее найти слова,
чем жизнь теплей в тебе живая,
проснись: вокруг — ни существа,
ни ада, ни Земли, ни рая.

* * *

Мне снился голос,
в тело необлачённый.
Уснёшь ещё раз —
но не поймешь, о чём он.
Как всякий раз появится —
слух пьянее.
и воздух плавится,
и потолок темнеет.
Я стану на свидания
ночью изредка
ходить — беда,
беда мне! —
связалась с призраком!
Нет, на ночь глядя
не украшайся, девочка,
тебе ни платьев
шелковых и ни ленточек
не нужно, чтоб отныне
лежать и слушать
как воздух синий
все силуэты
рушит.

Алексей Макушинский

Остерго

Ранней весной 1994 года, как раз закончив свой первый роман, решил я поехать сперва в Гамбург, оттуда — если получится, если машина до него дотащится — в Копенгаген. Я жил тогда в Эйхштетте, баварском, крошечным, католическом городишке, писал, то есть должен был писать, то есть, скорее, не писал диссертацию, получал стипендию, тоже крошечную, под статью городишке, и машина была у меня к тому времени уже почти историческая, с тех пор исчезнувшая с дорог и улиц Европы — «Фольксваген Гольф», маленький, красненький и двухдверный, очень любивший ломаться в самый неподходящий момент, впоследствии, через год после этой поездки погибший на автостраде «Мюнхен — Нюрнберг» (А9, как официально она именуется), одной из самых загруженных, безумных и мучительных автострад, по каким вообще приходилось мне ездить.

В тот раз я с удовольствием свернул с нее на А3, потом, возле Вюрцбурга, на А7, уже прямиком ведущую в Гамбург, через Фульду, Кассель, Гёттинген и Ганновер. За Ганновером начинается тот плоский северный ландшафт, который всегда был мне милее — роднее — южно-германских гор и холмов, с их узкими, замыкающими взгляд и душу, долинами. В Ганновере, гласит немецкая пословица, ты утром видишь, кто идет к тебе из Гамбурга ужинать... К позднему ужину в Гамбург я и приехал; через пару дней отправился дальше на север, уже не по автостраде — убивающей всякий ландшафт, и гористый, и плоский, — но по чудесным дорогам, аллеям, обсаженным в то время года еще голыми, топырившими на ветру свои ветки, деревьями, на Гузум, город Теодора Шторма, и еще дальше на север, к датской границе, на Дагебюль. Все более плоским и северным становится здесь ландшафт, по-немецки называемый *Marschland*, бескрайняя низменность с бродящими над

ней облаками, пересекаемая сложной системой насыпей, защищающих ее от моря и наводнений — первая, вторая и третья линия обороны (обо всем этом можно, в самом деле, прочитать у Теодора Шторма) — на каких-то насыпях, всегда и, кажется, в любое время года — сочно-зеленых, всегда и в любое, кажется, время года, пасутся овцы; они же, как объясняли мне местные люди, не просто так себе пасутся на этих насыпях, но пощипывая сочно-зеленую траву, на них растущую, своим пощипыванием траву оную укрепляют (не спрашивайте меня, каким образом...), а это, в свою очередь, укрепляет саму насыпь, линию обороны от морской, в иные дни и времена года — враждебно-буйной стихии. Будь моя воля, бродил бы и бродил бы по этим насыпям, под этими облаками; никогда не уезжал бы оттуда.

В Дагебюлле я оставил машину на огромной и пустынной парковке; на пароме переплыл на остров Амрум, где машины запрещены и где я прожил три дня в очень сельской гостинице с соломенной крышей — там все крыши такие, — в совершенно наивной, как выяснилось впоследствии, надежде, что удастся мне, в островном одиночестве, начать некий второй роман, уже давно мною задуманный (сколько мучений эта второй роман мне доставит впоследствии, я еще и подозревать, конечно, не мог...). Во время отлива можно пешком дойти до соседнего острова Фёр по обнажившемуся вязкому дну, в складках которого любители фауны и флоры ищут свои редкие ракушки, свои вонючие водоросли; можно ничего этого не делать, а просто бродить по бескрайним дюнам, с морской, открытой ветрам стороны острова, по дощатым гатям и между кустиками колкой серой травы, глядя на вновь и вновь, за одним холмиком и за другим изгибом тропинки открывающийся водный простор.

Как только я пересек датскую границу, машина стала шалить, бастовать, барахлить; похоже, она не вынесла, так я думал, трехдневного моего отсутствия; просто, может быть, соскучилась стоять на парковке, в полном одиночестве, на морском неумолчном ветру. Я все-таки еще ехал, сначала просто вдоль линии берега и все дальше на север, до прелестного, кирпично-булыжного городка Рибе, затем повернул — по карте: направо — на Колдинг, на Оденсе и на Ньюборг. На карте Дания маленькая;

в действительности в ней уже чувствуется огромный северный простор, как если бы все то пространство, по-прежнему очень плоское и, как правило, очень пустое, которое ты видишь из окна машины, было только началом еще какого-то другого пространства, огромнейшего, пустынейшего, уже окончательно необитаемого, уже никакого отношения не имеющего к человеку, его судьбе, его — ломающейся — машине. Еще не достроен был знаменитый мост между Ньюборгом и Корзёром, так называемый Большой Бельтский мост, самый длинный в Европе; с парома я видел, как он строился, этот мост; и это было зрелище удивительное, навсегда оставшееся в памяти: пилоны, ванты, вдруг обрывающийся настил — и затем уже только пилоны, громады этих бетонных пилонов, встающих из серой воды как некие мифологические существа, каждое само по себе, в своем божественном одиночестве. В скандинавской мифологии, как известно было некоторым любознательным подросткам, чтение Старшей и Младшей Эдды предпочитавшим решению ненавистных задачек, ненавистной математичкой заданных на дом, было, помимо Одина, еще двенадцать богов, заучить имена которых в двенадцать лет не представляло никакого труда: Тор, Бальдр, Хеймдалль, Локи, Фрейр... нет, теперь уже не могу их всех вспомнить, и, стоя в тот солнечный день на пароме, под ветром скальдов, тоже, увы, не мог. От Корзёра до Копенгагена уже совсем близко, раз — и доехал.

В Копенгагене был — и есть — у меня знакомый философ, Йенс-Петер К., философ — в современном смысле этого слова, конечно, то есть историк и преподаватель философии, не претендующий, похоже, на оригинальность (что, в общем, грустно...), классический скандинавский блондин, с прозрачными, глубоко посаженными, меланхолическими глазами, Йенс-Петер, с которым, в бытность его в Эйхштетте ассистентом, сошлись мы, я полагаю, потому что поразил я его своим знанием, чьим тезкой он является — Йенса-Петера Якобсена, понятное дело, прекрасного датского писателя, главный (из двух) роман которого («Нильс Люне») Райнер Мария Рильке, например, называл чуть ли не любимой своей книгой (наряду с Библией, ни много ни мало), о чем в юности прочитал я в его, рильковских,

«Письмах молодому поэту», после чего разыскал, разумеется, Якобсена, сперва в русском, потом, в Германии, в знаменитом немецком переводе, каковые переводы и читал с немалым наслаждением и немалой для себя пользой. Все это я Йенсу-Петеру и рассказал, глядя в его прозрачные, скандинавские, меланхолические глаза, — после чего, к обоюдному, смею полагать, удовольствию и с немалой, опять-таки, пользой для меня, профана в этих материях, случилось, рассуждали мы с ним, за чашкой кофе в кафетерии, об экзистенциализме и герменевтике, о Максе Шелере и о Ясперсе, заодно уж и о более мне понятных предметах, о том же Якобсене, его двух романах, его влиянии на Рильке, на Томаса Манна, откуда тезка великого автора не отбыл, наконец, на их общий магический север. Он, кажется, всерьез не верил, что я приеду, приглашая меня, при случае, погостить у него в Копенгагене; сумел, впрочем, скрыть свое удивление, когда я, действительно, позвонил с сообщением, что — еду, что — скоро буду.

Я доехал, действительно, хотя по самому Копенгагену ехать было уже страшновато — на каждом светофоре, едва я отпускал газ, мотор глох, и негодующие водители гудели мне, протестуя. По городу же кружил я довольно долго — навигаторов еще не было и в заводе, — прежде чем добрался, создав несколько аварийных ситуаций, до Йенс-Петеровой квартиры, примечательной не столько тем, что вся она (включая кухню, тем более включая уборную) завалена была книгами (ничего другого я от философа и не ожидал), и даже не беспорядком, в ней самодержавно царившим (от холостяка тоже не ждешь ведь другого), сколько тем, что располагалась на двух этажах — из, собственно, квартиры (заваленной книгами) скрипучая лестница вела на чердак, где оборудована была гостевая комната (заваленная книгами тоже) с пыльной тахтой и круглым волшебным окошком, из которого видны были мачты парусников, видна была гавань... Копенгаген, в моем первом к нему приближении, показался мне похожим на Петербург, прямые улицы, как будто прочерченные той же самой, у Петра взаймы — или Петром взаймы — взятой линейкой, вода и снова вода, дворцы, каналы и гавань, запах моря, северный свет. Да, Петербург, я думал, но Петербург все

же благополучный, без того, как бы добавочного, измерения, той метафизической перспективы, которая в северной нашей столице так отчетливо проступает за прекрасной поверхностью, без достоевских преступных дворов, без провалов в бездну и в вечность, без блоковского темного морока за углом и за поворотом...

Был день рождения королевы, как выяснилось. Королева Маргрете Вторая (к тому времени уже двадцать два года как королевствовавшая; она и до сих пор королевствует) по такому случаю с балкона своей резиденции обращалась к ликующему народу. Народ стоял на площади, и королева обращалась к нему. Был караул в высоких мохнатых шапках, были дети на плечах у родителей, размахивавшие маленькими датскими флагами, была военная музыка. Да здравствует Дания! провозгласила королева. Ура! закричал народ. Да здравствует Дания! опять провозгласила королева. Ура! опять закричал народ. Да здравствует Дания! в третий раз объявила королева. Ура! в третий раз ответил народ. Хорошо, наверное, быть подданным просвещенного монарха, просвещенной монархини. Монархиня удалилась; потом опять вышла; поклонилась ликующим подданным; кому-то отдельно кивнула; кому-то отдельно улыбнулась; еще кому-то, продолжая улыбаться, отдельно помахала рукою; удалилась опять. Она, получается, была знакома с теми, кому кивала, кому улыбалась? А почему бы, я думал, и не могло у нее быть знакомых на этой площади? Страна маленькая, всего-то шесть миллионов жителей, из них — миллион жителей Копенгагена. Невозможно знать в лицо миллион человек. А все же было что-то трогательно домашнее во всей этой сцене. Вот мой народ, вот стоит фру Йохансен, а вот герре Петерсен. То же и в отношении народа к Ее Величеству. Вот наша гавань, вот наш музей, вот наш самый длинный в Европе мост, а вот наша королева, вон там, на балконе... Что нужно для единения нации? Все знают, какое пирожное ест в этот день — хочется написать: изволит есть — изволит вкушать — Ее Величество; все дети и большая часть взрослых едят в этот день такое же; верноподданные взрослые, верноподданные дети. Я тоже его, понятное дело, попробовал, в своем качестве любознательного путешественника. Пирожное как пирожное; в меру сладкое; с королевским гербом, глазурью выведенным на поверхности.

А вечером я снова шел через эту четырьмя одинаковыми дворцами образованную королевскую площадь — *Amalienborg* — и там не было никого, на этой площади, лежавшей передо мною булыжной и мерцающей гладью, пустым и чистым пространством; вообще никого, кроме все тех же часовых, в тех же мохнатых папках, так же стоявших навтыжку перед каждым из четырех дворцов. Один из этих часовых оказался эскимосом — из Гренландии, датской, как известно, колонии. Стоял он так же неподвижно, так же — всерьез, как все остальные, а все-таки выглядел еще комичнее, чем все прочие, со своим детским, плоским лицом. Два часовых пошли вдруг, чеканя шаг, навстречу друг другу, поменялись местами, застыли. То был театр не для меня, единственного их зрителя, но честный, бессмысленный, бескорыстный театр для себя (я подумал), смешной и ничтожный, как все ритуалы.

В первой же мастерской, куда на другой день я заехал, мне сообщили, очень вежливо и спокойно, даже, пожалуй, радостно, на чистом английском, что это — карбюратор, *You understand? carburator*, ничего страшного, *it's not so bad*, приходите так недельки через две, мы с удовольствием все починим. Как через две недельки? через какие еще две недельки? Я через три дня уезжаю. Ах, в самом деле? Ну, ничего страшного, *take it easy, it's not so bad*, поезжайте вот по такому адресу, там большая мастерская, они все сделают, до свиданья. А, карбюратор! *carburator*, вы понимаете? говорит мне в большой мастерской улыбающийся и чем-то очень довольный механик, вы же понимаете, *carburator*? Да понимать-то я понимаю, говорю я, уже чуя недоброе. Нет, я просто так спрашиваю, отвечает механик, а то у вас в Германии это называется каким-то странным словом, а *strange word, Vergaser*, или что-то такое. Да, *Vergaser*, только я не немец... А номер у машины немецкий. Номер-то немецкий, но я не немец, я русский. Ну, ничего страшного, *it's not so bad*, а приходите-ка этак недельки через две-три... ах, надо раньше? ничего страшного, *take it easy*, а вот поезжайте-ка по такому адресу, там маленькая мастерская, работы у них — кот наплакал, скажите, что я вас прислал. Хорошо, еду и в маленькую, причем мотор глохнет на каждом перекрестке и перед каждым, соответственно,

светофором под яростные, или насмешливые, гудки всех прочих водителей. О, говорит улыбающийся механик, замечательно, *how nice*, эта машина — бомба, *this car is a bomb*, она может в любую минуту взорваться, но вы не расстраивайтесь, это карбюратор, вон, смотрите, из него бензин вытекает, *take it easy*, недельки так через три... Что? в Германии вам бы сразу все починили? так то в Германии, вы, немцы, известное дело... Ах, вы не немец? вы русский? *It's not so bad*, постарайтесь все-таки доехать до Германии, хоть до Любека, что тут ехать, плевое дело. Да как же ехать, если машина может взорваться? Ну да, может взорваться. А может и не взорваться. Поезжайте остороженько, потихоньку, полегоньку, резко не тормозите. Главное, *take it easy*.

Пускай взорвусь я, сказал я себе, но в Гельсингёр, место действия «Гамлета», я все-таки съезжу, будь что будет, мне уже все равно. И если осторожный Йенс-Петер не поедет со мною, то пускай и не едет, доеду как-нибудь сам, потихоньку и полегоньку, резко не тормозя. Все идет сплошным потоком в жизни, важное мешается с пустяками, как мешаются и мысли у нас в голове, мысль о Гамлете, мысль о сломавшемся «Гольфе». Ну, глохнет же, глохнет мотор на любом светофоре, а все-таки я увижу, вот сейчас, «Эльсинорских террас парапёт», все-таки, вот сейчас, попробую представить себе, что вон за той портьерой прятался несчастный Полоний... Террасы там есть, парапета я не нашел. В самый замок, впрочем, меня не пустили — я приехал слишком поздно (все из-за карбюратора). Но сама дорога все же — была, шла вдоль моря — вдоль зунда, серым блеском отливавшего на апрельском солнце — и в городке, Гельсингёре, обнаружилась своя собственная гавань, лодки, в ней качавшиеся, стукавшие друг о дружку бортами, скрипевшие своими канатами, обнаружились узкие булыжные улочки, затем опять — море, какие-то большие камни, и на другом берегу — уже Швеция, уже Гельсинборг, совсем близко, и снова мачты, опять корабли. И больше всего хотелось мне, конечно, переплыть через зунд на пароме, и по шведскому берегу поехать просто дальше, все дальше и дальше на север, в неведомые, пустынные, мифологические пространства.

Ни о чем подобном и речи быть не могло, надо было как-нибудь суметь без аварии в Копенгаген вернуться. И конечно,

я был рассеян, расстроен. Что ему Гекуба, что он Гекубе? Что мне Гамлет, если машина моя не едет? Суета сует наша жизнь, и человек — квинтэссенция праха... То есть она, повторяю, ехала, эта машина; она отказывалась стоять с включенным мотором; подлейшим образом глох мотор сей, едва я переставал нажимать на газ. По-немецки же карбюратор и в самом деле зовется *Vergaser* — не столько странное, сколько страшное слово: *vergasen*, превращать в газ, имеет, увы, еще и совсем другое, чудовищное, значение — убивать газом, — значение, о котором не хочется думать, о котором все-таки думаем мы (все идет, еще раз, сплошным потоком и в жизни, и в мыслях...) на обратном пути из Гельсингёра в столицу. А ничего нельзя сделать, по-немецки карбюратор назывался так с тех самых, уже давних, пор, как Николаус Отто изобрел двигатель внутреннего сгорания; и никто, конечно, не стал его переименовывать после войны. Сколько слов в немецком языке пришлось бы вообще поменять, чтобы избавиться от воспоминаний о нацизме? Что датский король во время немецкой оккупации надел желтую звезду, это, кстати, благочестивая легенда; а вот, что Кристиан Десятый (дедущка Маргреты Второй — и самый высокий король в истории Дании; рост его равнялся одному метру девяносто девяти сантиметрам) вообще вел себя достойнейшим образом, каждое утро без оружия и охраны совершал конную прогулку по улицам своей покоренной, но не сломленной столицы, показывая благодарным подданным, что еще он есть и Дания не погибла, — исторический факт, засвидетельствованный многократно; когда же красный нацистский флаг повесили над Кристиансборгом, местным парламентом, приказал немецкому генералу немедленно его снять, заметив, что если приказание выполнено не будет, то флаг этот снимет датский солдат — на что генерал, понятное дело, ответил, что солдата сразу застрелят, на что король, в свою очередь, объявил, что — вряд ли, поскольку этим солдатом будет он сам, Кристиан Десятый. Флаг сняли, и это, как я прочитал в путеводителе, не легенда, а быль. А с другой стороны, я думал, все эти прекрасные жесты были возможны лишь милостью победителей. В Польше и в России монстры вели себя по-другому; в датчанах видели все же арийцев, братьев по скандинавской мифологии, сопочитателей Тора и Одина.

Возобновив, теперь уже вдвоем, автомобильную одиссею, по второму кругу (ада), в надежде (не сбывшейся), что Йенсу-Петеру удастся уговорить соотечественников отложить свое спокойствие в сторону, оставить свое *take it easy* и починить, наконец, злосчастный мой карбюратор, пустились мы, как некогда, в путаные философические рассуждения (так уж, похоже, надоело нам обоим говорить и думать о карбюраторе), причем не, прошу заметить, о Кьеркегоре. А почему, собственно, мы должны были говорить о Кьеркегоре? А потому, с неподдельной горечью ответил Йенс-Петер, что всякий, кто приезжает в Копенгаген, считает своим долгом говорить с ним, Йенсом-Петером, о Кьеркегоре, так что он, Йенс-Петер, прямо-таки благодарен мне, чуть ли не первому из приезжих, кто о Кьеркегоре с ним говорить не пытается. Лучше уж, в самом деле, о карбюраторе... А я никогда ничего не мог понять в Кьеркегоре; еще в прекрасную пору советской юности, когда все хиппи с Тверского бульвара, все прелестницы с Чистых прудов исключительно о Кьеркегоре и рассуждали, безнадежно терялся в их рассуждениях, искал прибежища у Бергсона, в крайнем случае отбивался Бердяевым. Зато Йенс-Петер, в благодарность, видимо, за безкьеркегорность нашей с ним карбюраторной одиссеи, принялся, по пути из третьей мастерской в четвертую мастерскую — где снова, с северным упорным спокойствием, посоветовали нам, во-первых, *take it easy*, во-вторых, прийти через две с половиной недели, а раньше никак не получится, *it's not so bad* — пересказывать мне, любознательному, хотя и не профессиональному слушателю, как раз сочиняемую им статью о понятиях бытия и зрения, или видения (с ударением на «и»), *das Sein und das Sehen* (мы говорили, разумеется, по-немецки). Получалось так, или так я понял Йенса-Петера, в той мере, в какой вообще мог понять его, отвлекаемый автомобильными мыслями и при общем моем невежестве в философических туманных материях, — как-то, значит, так у него получалось, что для древних быть значило — быть видимым, то есть быть вообще видимым, войти в область видимости, открытости, не-закрытости, истины, алетейи (алетейя, истина, буквально и переводится как — не-закрытость, поведал мне Йенс-Петер, ссы-

лаясь на Гейдеггера). Для средневековой же философии, узнав я, когда мотор наш заглох на очередном светофоре, быть тоже значило — быть видимым, но не просто и вообще видимым, а быть видимым — Богом. Ты есть, потому что Бог тебя видит, и я тоже есмь, поскольку Бог видит меня. А вот для философии новой, или так, еще раз, понял я Йенса-Петера по пути из четвертой мастерской в пятую, уже последнюю, уже окончательно безнадежную мастерскую, для новой, или так понял я, философии, с ее решительным разделением мира на субъект и объект, этот последний (объект) снова есть, поскольку он зрим и видим (субъектом; *esse est percipi*), субъект же есть, поскольку он — видит, поскольку, в своей противопоставленности объекту, он этот объект — видит, наблюдает, изучает, созерцает, разбирает, переделывает, создает заново; бытие — это видение; *Sein ist Sehen*. С такими рассуждениями невозможно ни согласиться, ни не согласиться; можно только принять их к сведению, попытаться продолжить, продумать, когда-нибудь возвратиться к ним... лет через двадцать.

Дальше события развивались так. Йенс-Петер, очевидно решивший меня спроводить — в глубине, похоже, души испугавшийся, что я и в самом деле проторчу у него две недели, хотя я вовсе не собирался этого делать, — начал бурно звонить по телефону, одному знакомому, другому и третьему, третий, в свою очередь, стал звонить, уже за кадром, четвертому, тот — пятому, пока не обнаружился среди всех этих знакомых некто по имени Остерго — что же это за имя такое? а это не имя, это фамилия, имени, сказали мне, у него нет, то есть оно, наверное, есть, но никто его не знает, этого имени, все называют Остерго по фамилии, именно — Остерго; вот этот-то Остерго, как выяснилось — механик, механик, впрочем, вовсе не автомобильный, но — авиационный, специалист по «Боингам» и мастер на все руки, вызвался — если, конечно, получится — сыграть в моей истории благодарную роль ангела-спасителя. Чудеса случаются и в будние дни; все-таки в воскресенье происходить им, я полагаю, привычнее. По воскресениям Копенгаген пустынен, скучен, как все европейские города. Я должен был ждать таинственного Остерго на вымершей, совершенно

безлюдной — ни одного человека, кажется, так и не появилось на ней — улице, с одинаковыми, плоскими, желтыми, вытянутыми, какими-то казарменными домами, облитыми, с одной стороны, весенним, еще не жарким солнцем, с другой — погруженными в синюю, колеблемую ветром тень. Таинственный Остерго оказался пузатым дядькой лет под пятьдесят, с одним из тех лиц, которые вызывают воспоминания о чурбане и топоре, с грубо высеченным носом, наскоро сработанным подбородком, насечками примитивных морщин. Он мрачно выслушал мою трагическую историю, после чего перестал обращать на меня внимание, заглянул в мотор, вздохнул, переоделся в синий, в масляных пятнах, комбинезон с надписью SAS — и сделался катастрофически похож на Карлсона, того самого, который живет на крыше. Тот ведь тоже летал... А моя машина не полетит? Не полетит, ответил он мрачно. Улыбаться явно он не умел, *take it easy* не говорил. Сердито сопел, пыхтел во всю мощь; стирал пот с низкого, в топорных морщинах, лба; извлекал, наконец, из дебрей мотора ту самую роковую деталь, из-за которой все беды и были.

Меня всегда поражало в технике несоответствие причины и следствия. Мотор глохнет, как только я отпускаю газ, перед каждым светифором возникает ситуация, с позволения сказать, аварийная, вообще машина — бомба и в любую минуту может взорваться — а все дело, оказывается, в какой-то резинке, отстающей от какой-то маленькой железной штучки, двумя болтиками и двумя гайками привинченной к какой-то другой железной штучке, побольше. Вот эту деталь и следовало заменить. А взять ее было, конечно, негде, в воскресенье тем более. В воскресенье чудесам случаться сподручнее. Я ее просто сделаю, объявил Остерго (как субъект новой философии, разбирающий и заново создающий объект; этого он не сказал...); да, сейчас поеду домой и деталь эту просто сделаю, повторил Остерго, с видом уже мрачнейшим, философичнейшим; жди меня здесь, только смотри — не отходи никуда.

Я, конечно, его не послушался; из одной скучной улицы свернул в другую, не менее скучную, вдруг вышел на канал, почти венецианский, с бием волн в каменный фунда-

мент кирпичной церкви, и на канал другой, широкий, с кирпичными стенами каких-то старинных складов. Я пытался представить себе, как ходил по этим улицам, смотрел на эту серую воду, слышал этот крик чаек — Йенс-Петер Якобсен, прекрасный писатель, так рано умерший от чахотки (как в девятнадцатом веке все они умирали...), автор «Нильса Люне», романа, который несколько раз читал я по-русски и по-немецки, который снова перечитал перед поездкой в Данию, — и как ходил по этим улицам, вдоль этих каналов сам Нильс Люне, трагический герой этого единственного в своем роде «романа воспитания», понемногу перетекающего в «роман поражения», в роман о поражении, крушении, утраченных иллюзиях и не осуществившихся надеждах, — как он шел здесь — или где-то здесь — ночью, в начале книги (место незабываемое...), только что впервые влюбившись — или поняв, что влюбился, — на ходу застегивая перчатку и вместе с тем сознавая, что еще никогда в жизни перчатку так не застегивал, так тщательно, с такой уверенностью в себе, с таким ощущением значительности всего, что он делает... Это одна из тех (небольших по объему) книг, которые хочется опять и опять перечитывать, потому что после каждого перечитывания мы остаемся с чувством, что не поняли в ней чего-то, не дочитали, не дочитались в ней до самого главного — чувство, мне кажется, происходящее от того, что удельный вес каждого места, каждого описания и каждой сцены здесь чуть больше, чем обычно бывает в прозе, даже в великой прозе, что удельный вес этот приближается к поэтическому, не потому приближается, что в книге есть места, условно и ужасно говоря, «поэтические» (они, конечно, есть, их даже довольно много, и в них бывает, увы, некая декадентская выпренность, всерьез принять которую уже не легко) — а, как раз наоборот, потому, что эта проза в высочайшей степени выполняет пушкинское (автору наверняка неизвестное) требование мысли и мысли; именно мысль, иными словами и парадоксальным образом, создает здесь ощущение сжатости, напряжение стиля и концентрацию слога, родственные поэзии. Что не исключает, конечно же, меланхолии. Есть особенная меланхолия позднего девятнадцатого века, позднего мира, осо-

знающего свое увядание, свою усталость, меланхолия мира, в котором все еще по видимости в порядке, но в котором уже нет иллюзий, мира, которому еще только предстоит самому себе ужаснуться... Эти мысли могли, конечно, увести меня далеко; я вовремя опомнился; вовремя возвратился.

Остерго тоже прибыл вовремя, через два часа ровно; в своем синем комбинезоне по-прежнему похож был на Карлсона. Не слетал ли он в родной Стокгольм за спасительною деталью, резинкой и железякой? Я все-таки не решился задать ему этот, для меня важнейший, вопрос... Прошло двадцать лет, и никаких шансов нет у меня когда-нибудь снова встретиться с этим толстым ангелом в промасленном комбинезоне. А как хотелось бы! Тогда я не думал об этом. Тогда мне хотелось, чтобы он улыбнулся. Мне больше хотелось, чтобы он улыбнулся, чем чтобы он уже починил, наконец, злосчастный мой карбюратор. Плевать, в конце концов, на карбюратор, я думал. Ну, в самом крайнем случае, просто брошу машину в Дании, вернусь в Баварию поездом или найду попутку, какая разница? Усилия мои не имели успеха... Его собственный успех произвел, однако, столь мне желанное действие. Когда выяснилось, что деталь приходится машине по вкусу, мотор заводится и, главное, при отпускании газа не глохнет, тогда, наконец, подобие улыбки появилось на его грубых губах, тогда даже — мельком — он посмотрел на меня и произнес, не без торжественности: старые машины, большие проблемы! *Old cars, big problems...* Садись, поедемся, я поведу. Он, видимо, чувствовал себя за штурвалом самолета, не за рулем машины. И вообще не пристало ангелу, Карлсону соблюдать правила дорожного движения. Он привык летать, с пропеллером или без, ему ли думать о светофорах? Мы и летали, по улицам, потом по автостраде, в воскресенье, на счастье наше, тоже не перегруженной, потом мы вдруг тормозили, под возмущенные гудки других водителей и прочих машин, потом опять разгонялись, потом опять тормозили... Машина, может быть, теперь не взорвется, но переживем ли мы эту ангельски-авиационную манеру езды? Денег он не взял. Вот фонарь, произнес он — и снова не без торжественности. Возьми его, он тебе пригодится. Что значит — нет? У меня два

фонаря, сообщил он, предъявляя мне оба. Мне второй фонарь не нужен, а тебе пригодится. Если мотор будет глохнуть, посветишь вот здесь, подкрутишь вот эту гайку... Что значит, не сумеешь? Это даже ты сумеешь, *even you*, вот здесь посветишь, а вот здесь подкрутишь, вот так. Главное — не позволяй этим немцам менять весь карбюратор целиком, пускай деталь мою заменят, а карбюратор в порядке. А то знаем мы, этих немцев, им лишь бы денег содрать. Денег — нет, денег он — не возьмет. Не почему, а просто не возьмет он никаких денег. Уже не мельком, но в упор и внимательно посмотрел он, наконец, на меня. *Take it easy*, сказал он.

Я поехал другим путем в Германино, паромом из Рёдбю в Путтгарден; я помню толпы туристов, набрасывавшиеся на беспошлинные товары, которые можно было тогда купить на этом пароме, в остервенении жадности хватавшие виски, коньяк и «Мальборо» (не пачками, понятное дело, а блоками), какие-то датские морские паштеты в банках и тубиках (Йенс-Петер тоже имел привычку на завтрак поедать что-то остро пахнущее морем и водорослями, выдавливаемое из тубика на сухой ломкий хлебец), и еще какие-то паштеты другие, в тубиках и банках других. Между тем, море светило всем своим блеском вокруг нас, все переливалось, все искрилось под северным солнцем, и я чувствовал себя, стоя на палубе, одновременно частицей этого сиянья и блеска, этой всеобщей зримости, этой своими зеркалами, своими искрами играющей алетейи, и чувствовал себя увиденным, вместе с этим миром и морем — кем-то, я, конечно, не мог бы сказать кем именно, и в то же время чувствовал себя тем, кто — видит, тем философским субъектом, без которого и в самом деле не существует, может быть, ни этих волн, ни этого неба. **И**



Дмитрий Вачедин

Саратов-93

Из книги «Берлиноград»

Нелли стояла в дурацком коричневом пальто фасона «летучая мышь» перед лежащей на земле сумкой, почти бесплотная, почти исчезнувшая, как будто готовилась показать фокус — вот сейчас распахнёт пальто, а там ничего. Глаза её были закрыты. Сзади, так как пальто было безразмерным, квадратным, никак не крепилось снизу, в пальто пролезла её дочка — для неё это было что-то вроде палатки. Из пальто торчали четыре ноги, они стояли перед сумкой — единые, как спящая альпака, и на них опускались снежинки — наши берлиноградские снежинки, не вода и не снег, новое мерзкое агрегатное состояние: даже самая маленькая, растаяв, превращалась в большую ледяную каплю.

Я смотрел на Неллино лицо — на её курносый нос и полные губы и брови вразлёт, крылатые брови — оно было спокойным и прекрасным. Невозможно было себе представить, чтобы это лицо было просто лицом — казалось, что за ним скрывается громадное невидимое королевство, леса и поля, штаб придворных и слуг. Казалось, оно всё про тебя знает, и вообще знает всё обо всём — но непонятно, кто знает, ведь не лицо же, — я это, конечно, не смогу поймать и объяснить.

Дочка вылезла из пальто — лохматая и красивая, лет, наверное, восьми.

— Чего тебе? — так она спросила.

— Хочу купить эти ваши штучки, — ответил я.

— Двадцать евро!

Из сумки выглядывали три каких-то смазанных машинным маслом и завернутых в газету циферблата, выглядевших одновременно как самые серьёзные и самые бесполезные механизмы на свете.

— Давай все три за пятьдесят, — предложил я.

Нелли открыла глаза — оказалось, они колючие. Она заговорила, и я увидел, что она не знает, как управлять своими губами — они двигались не в такт речи, лёгкий рассинхрон. Она согласилась, только попросила вернуть газету, в которую механизмы были завёрнуты. «Рюкзак запачкается», — сказал я, но газету вернул. Рюкзак и правда запачкался, но это его не портит.

Я не сказал, что всё это было два года назад, а ведь это важно. За несколько дней до покупки циферблатов я пошёл на тусовку. Помню, стоял в углу и ел блин — вытирал им варенье, размазанное по пластиковой тарелке, и откусывал от блина большие куски. На один блин мне нужно было секунд сорок — я справился бы и за двадцать, но стеснялся, потому что вокруг ходили люди. Вернее, стояли — это была русская поэтическая тусовка, там люди в основном стоят. Доев блин, я, напуская на себя непринуждённый вид, снова подходил к столу, подцепляя вилкой следующий и уносил его в свой угол. Сочетание варенья и холодного поджаренного теста было знакомым — но знакомым не гастрономически, а, скажем так, тактильно — будто я когда-то провёл ночь, завёрнутый в холодный блин.

— Как дела?

Подошёл Глеб, я давно знал его, ещё с тех времён, когда жил в Кёльне и ездил в Берлиноград пощекотать себе нервы на холодных улицах, устраивал себе экскурсии в здешнюю бесприютность. Люди, которых я тогда встречал в Берлинограде, находились в постоянном скорбном и бессмысленном движении — они напоминали мне удиравших от Кутузова французов, бредущих по русской зимней равнине. Одевались они соответственно — в каком-то нищенско-барском стиле, всё с чужого плеча и, казалось, температура тела у них — тридцать четыре градуса. Такими были все, и я стал таким, когда переехал в Берлиноград, но не Глеб — Глеба этот наш скорбный марш не касался вовсе, он даже перемещался по городу не по длинным и тёмным улицам, проложенным с учётом направления холодных ветров, как делали мы — он ходил своими путями, может, через стены, я не знаю.

— Хорошо дела, — ответил я честно, — только денег совсем нет.

Я отвлёкся на Глеба, опустил блин, и его тут же спалапа горячая и весёлая собачья пасть — собака мгновенно скрылась в толпе, пихнув меня войлочным боком. Глеб снисходительно оглядел всё это и заказал мне пива. Я глотнул. От сытости и вкусного пива люди, только что казавшиеся мне насмерть чем-то перепуганными, прячущимися от жизни берлиноградскими обывателями, предстали передо мной преображёнными — в каждом теперь будто горела свечка, и я с собачей благодарностью посмотрел на Глеба. Он поймал этот взгляд — ему было приятно.

Глеб ещё молча постоял с полминуты, затем вытащил из кармана чью-то визитку, зачем-то зачеркнул имя, а на обратной — чистой — стороне написал адрес и время.

— Вот тебе адрес, — сказал он. — Это русский рынок. Купи там какой-нибудь ерунды на пятьдесят евро и продай в интернете подороже.

— Пятьдесят евро? — переспросил я.

Он вытащил кошелек и протянул мне купюру.

— Вернёшь.

— А почему эти люди сами не продадут свою ерунду в интернете?

Глеб отпил вина.

— Ты правда хочешь знать?

— Не хочу, — ответил я, поразмыслив.

— Будь здоров!

Рынок располагался под мостом — вернее, под заброшенной веткой с-бана, наших берлиноградских городских электроричек. В общем, сверху шли рельсы, и на них росли деревья, как ни странно, очень много берёз — хотя почему это должно быть странно? Это был позаброшенный забытый район Берлинограда — Сименспгадт — фабричные здания добротной постройки и жилые блоки со старушками, а сквозь них, над землёй, идут и идут поезда-призраки по прогнившим до сиреневого цвета железным мостам. Отличное место для нелегального русского рынка — всё правильно, я даже не удивился. Покупателей и продавцов было, наверное, человек сорок — все они выглядели бедно и бестолково. Я прошёл мимо торгового ряда и так и не понял, что тут вообще продают — какие-то железяки непонятного назна-

чения. Нелли стояла последней в ряду, не под мостом, а уже под открытым небом — я остановился перед ней, купил циферблаты на Глебовы деньги и поехал домой.

Зима была сложной, наверное, самой сложной зимой в моей жизни. Берлиноград высасывал меня, даже не так, — выедал по чайной ложечке, — и ничего не давал взамен. Кроме, пожалуй, надежды, что, истончённый до полупрозрачного состояния, я напишу сценарий, и его купит общественно-правовое немецкое телевидение, пивкой присосавшееся к денежной жиле. Но сценарий всё не писался.

На следующий день после похода на рынок я выставил циферблаты в интернет — по пятьдесят евро каждый. Через три часа приехал мужчина с незапоминающимся лицом, внимательно их оглядел и купил все три. Вечером он перезвонил и сообщил, что согласен покупать все приборы, которые я смогу раздобыть — и за каждый он будет платить триста евро. Лёгкие деньги ударили мне в голову — я отправился в Нойкёльн на поиски Глеба и нашёл его в одном из баров. Он стоял, прислонившись к грязной стене без обоев, под нарисованным схематичным изображением мужского члена. «Поздравляю», — сказал он, мельком взглянув в мою сторону. Меня же, главным образом, интересовала дата следующего рынка.

— Там по-разному. Где-то пару раз в месяц. Я тебе напишу, — сказал он.

— А откуда они вообще берут эти приборы? — спросил я.

— Тащат с заводов.

Я ещё успел спросить, с каких это заводов, но он оттолкнул меня и прошагал в туалет. Когда он проходил мимо, я почувствовал его дыхание — он был мертвецки пьян. Через несколько дней, впрочем, он скинул мне дату в фейсбуке.

В нужный день я поехал на рынок, нашёл Нелли и купил у неё четыре прибора.

— Поехали все вместе есть пиццу, — сказал я, — раз ты уже всё распродала.

— Пицца! — закричала девочка, и Нелли пришлось согласиться.

В метро выяснилось, что у Нелли некрасивая улыбка.

Это прозвучит странно, но это было последней каплей — чего-то подобного не хватало, чтобы всё соединилось и сошлось, и теперь я совсем успокоился. «Ну вот — сказал я себе, — значит вот оно как». Вагон покачивался, как на волнах. Когда-нибудь эту ветку закроют и мы, русские, устроим тут нелегальный рынок. Успокоился я, впрочем, зря.

В подземном переходе на Рихард-Вагнер-Платц старик играл смычком на пиле мелодию из «Титаника». Он сидел на раскладной табуретке и зажимал пилу коленями, его улыбающаяся голова с косматой седой бородой качалась в такт музыке, больше всего он напоминал стащившую мой блин собаку. Неллиной дочке он страшно понравился, она заворожённо смотрела на него, потом хлопала в ладони и подпрыгивала. «Титаник», — сказал я Нелли зачем-то, она непонимающе посмотрела на меня. «Фильм. Ты не смотрела?» Она покачала головой.

Я, собственно, позвал их есть пищу, потому что на этой ветке метро знал только одно приятное место — трактир в Шарлоттенбурге, уходившую вглубь старинного дома, всю помещавшуюся в узком коридоре. Там было темно, шумно и на стенах висели старые фотографии.

— Почему ты не продаёшь приборы в интернете? — спросил я.

— В интернете? — переспросила она.

— Ну да.

— Это либо что-то ваше местное, либо что-то новое, — сказала Нелли и отпила вина. — Я об этом не знаю, потому что живу в Саратове в девяносто третьем году.

Я рассмеялся, а когда закончил смеяться, то сразу поверил. Потому что это всё объясняло.

— На заводе не платят?

— Ну да. Саратовский авиационный. Муж берёт приборами.

— Пойдём ко мне, — сказал я просто.

— Пойдём. Мы сегодня уже не успеем вернуться. Только надо в магазин сначала.

В «Лидле» она купила килограмма четыре колбасы — той, оптимистично-розового цвета, копеечной, из жил и костей.

— Погоди, — сказал я ей. — Ты её лучше не ешь. Давай купим подороже.

— Мне на продажу, — ответила она.

Я пожал плечами — действительно, куда я лезу. Купил девочке киндер-сюрприз и пачку бэби-морковок.

Дома мы пили вино. Дочка рисовала карандашами, — Нелли их носила с собой в сумке, — нарисовала деда с пилой, он получился золотого цвета, с крыльями и в красных сапогах. Больше всего он был похож на бабочку. Я постелил девочке на зелёном икеевском диване. Забил холодильник колбасой, чтобы не испортилась за ночь. Мы сели рядом допивать вино, почему-то на полу. «Можно я на тебя заберусь?» — спросила Нелли. Я так и остался сидеть на полу, прислонившись к стенке, сидел и боялся пошевелиться, а она действительно забралась на меня, вся поместилась на бедре. Может быть, я казался ей горой или деревом в этот момент. Она сидела на мне и о чём-то думала, а если бы улыбнулась, то я бы увидел, что это ей не идёт, и поцеловал бы её. Но она не улыбнулась. Мы не переспали, хотя это напрашивалось. Я думал, что это напрашивалось. Видимо, все-таки не напрашивалось.

Утром она быстро собралась, запаковала колбасу, взяла за руку сонную дочку и уехала в Саратов-93.

Глеба я встретил через несколько дней.

— Когда ты ел блины по тусовкам, то выглядел лучше, — сказал он.

— Портал? — спросил его я.

— Ну да. Каждый выживает как может. Есть какой-то ход через подвал в районе Юнгфернхайде.

— И ты торгуешь?

— Да, сейчас обалдеешь, — он отчего-то развеселился. — Я торгую сам с собой. Очень удобно. Только себе можно доверять.

— То есть, ты молодой берёшь контрабанду, несешь её в Берлин и продаёшь самому себе через на двадцать лет старше?

— Ну да. Не полезу же я в Саратов. Он помоложе, пусть двигается.

Мы помолчали.

— Я вообще не знал, что ты из Саратова, — сказал я.

— Так откуда же ещё. А ты?

— Питер.

— Был бы в Питер-93 проход — я б сходил!

— Я там был, — сказал я, — ничего интересного.

И ушёл куда-то, промёрз как обычно, а потом всю ночь писал.

А потом отпустило. Пришла весна, и Берлиноград стал мягкий-мягкий, как пудинг. Он невероятным образом расширился, как будто его вывернули наизнанку, и всюду оказалась тёплая вода — водоёмы невероятные открылись, вода переливалась туда-сюда, как в ванной. Закаты продолжались по полдня — в небе разворачивались целые представления. Ночами звёзды летели слева-направо, крупные, как фасолины, будто это был последний город Земли, а дальше — космос. Да так оно, в общем-то, и было. Но рынок исчез, не проводился больше. И Глеб тоже испарился вместе с ним.

Я встретил его уже летом, в парке во Фридрихсхайне, на шашлыках. Он был собранный и злой, выглядел прекрасно, забил руку татуировкой.

— Он меня наебал! — закричал он первым делом, увидев меня. — Этот мудака молодой! Прислал мне партию испорченного товара. Нет, ты мне объясни — зачем? Кого он обманывал?! Кого?!

— А чего ты удивился? Ты об этом забыл, что ли? Ну в смысле, воспоминания-то у вас одни? — спросил я.

Он лишь устало махнул рукой.

— А что с рынком вообще? — поинтересовался я. — Давно о нем не слышать.

— Всё. Финиш. Один украинец, ветеран АТО¹, который в Шарите лечился, отправился в девяносто третий. Сказал, что убьёт Путина, пока он ещё без усиленной охраны. И всё сломалось, нет больше рынка.

— Понятно, — сказал я, хотя понятно ничего не было.

Прошло полтора года — чего ты хочешь, это Берлиноград, здесь годы прыгают сразу по двое-трое — обычно один ждёт, пока сразу несколько вместе соберутся, и потом — раз!

¹ Антитеррористическая операция, украинское официальное название военных действий на востоке страны

Быстро очень всё проходит. Мне позвонили в домофон, я открыл дверь, на пороге стояла девушка невысокого роста лет тридцати. Я думал сначала — Нелли, но это была не Нелли. Когда она улыбалась, ей это шло — прекрасная улыбка. Она закончила журфак в Саратове и переехала в Москву, десять лет уже работала в журнале про элитную мебель — я даже не знал, что такие журналы существуют, не представляю, о чём можно в них писать. Показал ей зелёный икеевский диван, на котором она когда-то — полтора года назад — спала, но это её не впечатлило.

— А помнишь старика с пилой? — спросила она. — Любимое воспоминание детства. А колбасу мы сами съели, не стали продавать. До апреля хватило.

Потом мы переспали, потому что так мы, русские, поступаем, если хотим удержать что-то, что нам дорого. А мы хотели удержать — каждый своё. Она лежала на кровати — тоже маленькая, она за двадцать лет как-то не очень выросла. Она поместилась бы даже на зелёный диван.

— Как мама? — спросил я.

— Хорошо. Голосует за Путина.

— Его один украинец отправился убивать, — зачем-то сказал я.

— Ну, будем ждать.

— Будем ждать.

Мы помолчали.

— А помнишь пальто «летучая мышь», оно сохранилось?

— Да, снова вошло в моду, я его у мамы забрала и в прошлом году носила.

Я ей не сказал, но я тогда, вначале, хотел влезть под него — третьим. Мы бы тогда исчезли и нас бы не нашли. **И**

Александр Филиута

Надежда
ризомой расплзается по плечу,
как смерть по карте
словно сговорившись.

Татуировка оленьего привода
вываливается, скользя, из
лассивной шкуры.

Лепорелло судьбы
складывается гармошкой,
не давая шанса заглянуть
за эстакаду Великой стены.

Завой голумом,
прежде чем спрыгнуть вниз.

революция по Малевичу (кубизм)

Бабы сидели на пристани
в ожидании, в белых косынках
в толстых руках зажимая дратву,
размокшую в темной воде...

Мужики заходили издали,
развалкой стесняли взгляд.
Мальчишки тощие жмурились,
глядя на красный шар.

Конь отливал краснотой
в мареве полденной лени
мослами шлепая по воде.

И только барчук стоял вдалеке
тесно прижавшись к березе,
пот холодком стекал по спине.

Красный шар висел, навалившись,
наполняя глаза..

теперь, когда ты стал знаменитым

Теперь, когда ты стал знаменитым,
те, кто не здоровались с тобою из принципа,
сегодня лишены такой возможности по закону жанра.

А слабо признаться в любви к мужчине?!
Это тебе не богиня Уайфи,
заглатывающая очередную порцию.

Ах, ты старуха, трухлявое твое корыто,
не рыбка, не дедка, и даже не детка, а вот...
и тебя вылечат, хватит одной радиоактивной пупки,
в каком бы корпuse ты не лежала,
если даже и нужно будет одевать на корыто парик,
для канцерогенной позы или наоборот.

Но всё это — ничто по сравнению с...
и я расплакался навзрыд,
и подумал — жалко, старуха, жалко:
и корыта и старикашки,
и того, что я не могу читать в оригинале
то, что ещё не было даже переведено.

На приезд поэта

Его стихи — это метафизика на тарелке с объедками,
канун второго пришествия в стеклобетонной Гоморре,
эмалированный кошмар, смахивающий на Hassliebe
ко всему, что движется и потенциально годится для.

Ноторически недовольный собой,
а ведь впереди ещё мидлайфовский кризис,
хотя, может быть смысл жизни в том, чтобы отбросить всё
и просто вскрикнуть в переполненном зале.

И тогда адажиетто из пятой
откроется сокровенным и передернется сукровицей,
и миллионы обнимутся, как кубики Галина Бланка
в глютаматном экстазе закипают.

И воссоздастся в небе над головой
тот ур-супчик наваристый, где в одном
флаконе яйцо и курица.

А сына звали, кстати,
не Иешуа, а Юрий Г.

Северный Веддинг

На улице Зольдинер игры не ролевые,
гасят сверстника гастарбайтеры
четвертого поколения,
предки к порядку не приучили.

Алкаш, абориген немецкий,
неудачник программы послевоенной
экономической, мимо проходит,
уже давно на все положил.

Удачник балканский из молодых
проезжает мимо на мерседесе подержанном,
ближайший Лидль сразу за поворотом,
система жжет.

Мамаша турецкая с выводком, наскоро сделанным
идет не торопясь по другой стороне улицы,
у всех аккуратные черные платочки на голове,
это сегодня — цвет надежды.

Поэт эпохи развитого капитализма,
уже переживший стадию загнивания,
не может писать о счастье!

О счастье уже все написано,
и давным-давно вложено,
запатентовано копирайтом бессмыслия,
места не осталось даже для надежды.

В эпоху фокложерс,
финансовых дериватов, счастье,
метафорой не испорченное,
уже наступило.

Его не продать, не заложить под проценты,
его даже романтик,
на социале сидящий, не схавает,
велико давление эпохи.

Кровавые режимы двадцатого столетия,
а также годов девяностых, ушли в небытие,
унеся с собой в пучину забвения
и светлое будущее и надежду на счастье,
на всеобщую справедливость и благоденствие.

Уже давным-давно проданы
и талант и бездарность.

После Аушвица никакое искусство
уже не возможно: искусством стал
сам Аушвиц, перезаложенный
под более высокую процентную ставку
в лучшем банкирском доме.

Сергей Бирюков

Скифы

приглядишься и невольно заметишь
скифского типа лицо
ого-го-го
где-то на крымских ветрах
опаленное
перерезано изморозью
дремлющего Алтая

наблюдай
с какой невероятной скоростью
движется
на велосипедных колесах
сквозь толщу лет
сквозь зеркало осени
сквозь тени лета
сквозь снежную замять

с какой головокружной скоростью
трансформируется тело
готовое к прыжку
готовое к винтовому движению
готовое к сальто-мортале

медленно и стремительно
разворачиваются эпохи
стирая на своем пути
города и тревоги
или покрывая курганами
масштабы географических карт

при первом приближении
 ты можешь не узнать прародительницу
 каменную бабу
 которая заплачет настоящими слезами
 алмазной твердости
 на могиле Велимира

В доме Магритта

(Rue Esseghestraat 135, Brussels (Jette))

Филипу Меерсману

улитка впилась в чрево Олимпии
 вечность и невозможность
 трансперсональность
 но
 завиток боли Жоржет
 Ренэ Магритт пишет на кухне
 вскипает кофе
 трубка сопит
 человек без лица
 изображает пикаф
 легкое перевоплощение
 вещного мира
 еще секунда
 и улица
 пустится
 вдогонку

Полёт динозавра

по наблюдениям ученых
 голодные мыши живут дольше

 так и запишем

 но оказывается динозавры
 летали
 по наблюдениям ученых

ученые все записали
на веб-камеры

и могли бы показать

но голодные динозавры
не желающие жить как мыши
под наблюдением ученых
съели оных
копии послали прикрепленным файлом

таким образом
упорядоченная система
неожиданно трансформировалась
в хаос
что по определению Пригожина
позволило выйти на новый виток

динозавр спланировал
неудачно
клюнул носом в песок

ученые признали свою вину
косвенную но все равно

кто пил цикуту
кто вино

все умерли
никого нет

динозавры в поиске
иных планет

**Ещё несколько слов
об осно(вах) (фи)(ло)(софии)**

кранты как говорил сартр
философии суперстартр
кофием заливая амфетамин
стряхивая пепел в
мифологический камин
напротив сидел пол пот
под портретом мао
кранты это еще мало
сказал пол вытирая пот
весь мир так сказать
не тот
хайдеггер услышав
смекнул
не тод (нох, хенде хох)
что на самом деле
происходит
кто победит
буш
или кон-бендит
деррида умер
на нем был красивый симулякр
выделите эту строчку курсивом
и только строгий хабермас
с нас не спускает глаз
франкфуртская школа
нас бережет
там вдалеке где-то
 ницше (пауза) ржет

Опевание

что это было Белла
на тоненьких каблучках
которые вонзала
в пол
выставочного зала
тогда на выставке Мессерера
громадины грамофонов
что это было Белла
на фоне белых полотен
завитушек грамофонных
ее говорок-пение
обрыв ступеней
где-то под крышей
выставочного сарая
что это было Белла
и грамофоны пели
ее голосом
который был нежен
который был нужен
который был сужен
в это время нам
поднятый к небесам

Борис Шапиро

* * *

Хелле

Руке не тяжело. Не светит, а светает.
И над, и под, и на, на всей душе лежит.
Льнёт, радуёт, ласкает, ластится и взлетает
безоблачно легко и тихо говорит:

Цвет неба — как его от синего циана,
от голубого как братаньем отличить?
И хрустало прозрачному с дыханьем океана
с бездвижным счастьем как, как тайно поручить?

С объёмом бесконечности в затишье,
в предвестии, в предвестии любви,
любви, но не земной и не небесной — чище,
чем небо и хрусталь, и помысли мои.

Как отличить, сказав? И как помыслить, чтобы
сказать? Не обмануть себя, тебя и всех,
всех тех, кого люблю, кого мы любим оба,
всех вместе, вместе всех, всех этих и всех тех.

Чтоб не спугнуть, не сдунуть, чтоб чувствовать бездонно
тебя, тебя одну во сне и наяву.
Мальчишке со стрелой и луком беспардонным,
пока живу, мы синюю натянем тетиву.

Из синевы небесной, сплетённой, скоморошной
роди весёлый, сложный до голубых седин,
как си бемоль и ля, до си, как невозможный
лазурный лазурит-ультрамарин.

* * *

В каком базальтовом колодце
живёт наркотик красоты,
коленце, облако, оконце,
откуда появилась ты?

Откуда высветилось пламя
ещё до разделения «МЫ»
на «Ты» и «Я», на упование,
на света колотьё и тьмы?

Но эти сутки, сутки счастья,
в одной горсти сжимают тень,
как невозможность расставаться —
в объятьях страшных ночь и день.

* * *

Красота — обещание счастья,
будто девою дверь отперта,
будто счастье коснулось запястья.
Задыханье? Огрех? Слепота?

Отперта, но ещё не открыта
нота, дверь, светлоликая твердь.
Твердь небесная светом омыта.
Что там брезжится, жизнь или смерть?

Что цветёт там? И что плодоносит?
Красота, как судьбы поворот.
До, си, ми? До, ля, соль? С нас не спросят
золотой, предпоследний аккорд.

Умные птицы

Умные птицы ворóны каркают друг на друга.

Они не боятся смерти.

Они провожают душу,
отлетевшую, не знаю куда.

Их души действительно с крыльями

по образу и подобию тел.

Если тело вороны одно на земле
мёртво лежит без движенья,

вся стая становится крúтом вокруг него

и кричит, и кричит, и кричит на отлёт души,

проводя траурным криком,
проводя радостным криком сильным,

чтобы было ей там хорошо,

чтоб она долетела туда, чтоб смогла,

опираясь на крик провожатых.

Умные птицы ворóны не ведают смерти.

Екатерина Васильева

Глубоковский

Глубоковский — хорошая фамилия для писателя или философа. Для того, кто проникает.

Но он только ковырялся перочинным ножиком в стене, пока классная его не обезоружила:

— Чего ты там искал? — закричала она, покрываясь рваным румянцем.

— Не скажу, — огрызнулся Глубоковский, пряча голову в плечи, как лезвие в рукоятку.

После урока я всё-таки заглянула в оставленную им дырочку. И мне показалось, что там действительно что-то есть.

Тогда я ещё не знала, что нельзя увидеть ничего такого, чего и так не было бы у нас внутри. Можно только встряхнуть свою душу и приложить её, как калейдоскоп, к собственному глазу.

Глубоковский был самым маленьким в классе, хоть и второгодник. Но бороздка, разделяющая надвое его переносицу, вызывала иногда подозрение, что он старше нас лет на десять. Сколько раз мне хотелось подойти и разгладить эту бороздку — то ли из жалости, то ли из любви к порядку. Но он к себе никого не подпускал.

У него всегда была наготове трубочка с жёванной бумагой, из которой отлично простреливались самые дальние уголки класса. Позже он начал заряжать её всем, что подвернётся под руку. Однажды снаряд из обломка карандашного грифеля попал мне прямо в глаз. Я даже сначала не поняла, что случилось. Просто что-то вдруг царапнуло глазное яблоко, а потом стало давить изнутри, как большая соринка. На перемене медсестра ловко извлекла у меня из-под нижнего века кусочек графита. Но я до сих пор помню это ощущение преграды между собой и миром. Или наоборот — сцепления, до боли, до невозможности отстраниться от него, просто зажмурив глаза.

Правда, я ему вскоре отомстила. На празднике городов-побратимов, где меня назначили ведущей, объявила его выход так: «А теперь немного о прекрасном!» И тут из-за кулис шаркающей походкой появился Глубоковский, ошарашенно глядя в бумажку, из которой он должен был зачитывать что-то о красотах Гданьска. Все, конечно, засмеялись. Он действительно был очень некрасив. Или нам тогда просто так казалось.

Больше всего Глубоковский походил на растение, вернее на водоросль, которую мало заботило то, что происходит на поверхности. Его вызывали к доске, а он оставался на месте, покачиваясь из стороны в сторону, как шаман. Всем диктовали упражнение, а он осваивал свой особый шрифт, где каждая буква стояла на голове.

Я сочувствовала его нежеланию подчиняться, но сама выбрала другой путь — полного послушания. Ведь чем меньше обращаешь на себя внимание карающей инстанции, тем быстрее она про тебя забывает. Ты всё делаешь как бы сам, без окриков и унижений. Значит, ты всё равно что свободен!

Иногда мне казалось, что Глубоковский должен очень любить власть, раз постоянно ищет подтверждения её присутствия. А может, он делал это специально для меня, чтобы я из своего угла увидела ту границу, которую мне никогда не перешагнуть? Так он, наверное, думал.

Глубоковский презирал культурные ценности. Однажды в кабинете музыки встал в боевую стойку и густо плюнул в стенгазету об истории русского балета. С лица приподнявшейся на пуантах Сильфиды закапало, будто она оплакивала свой позор. А он захохотал, но это был какой-то нервный смех. Любой смех нервный, потому что на самом-то деле в жизни нет ничего смешного.

Мне втайне хотелось, чтобы Глубоковский был красивым. Тогда бы я могла в него влюбиться. Я мечтала о странном гибриде: чтобы внутри был он, а снаружи — мальчик из недавно просмотренного телефильма. Впрочем, не всё ли равно, кто снаружи? Ведь когда целуются, язык вставляют прямо в рот, а глаза закрывают, так что всё внешнее исчезает.

Но почему мы тогда привязаны к красоте, как Прометей к скале? И чёрный орёл желания каждый день пикирует вниз, чтобы полакомиться нашей печенью. А она всё отрастает и отрастает заново.

Со второй четверти в школу пришла новая учительница географии. Я столкнулась с ней на лестнице ещё до уроков. Она поднималась на верхний этаж прямо передо мной, держа в руке глобус. Мне не нужно было так высоко, но я всё равно шла за ней, зачарованная тонкой талней под ловко скроенным серым пиджачком и необыкновенно модной стрижкой, какие видела до сих пор только у актрис или манекенщиц. Кто-то окликнул её сзади. Она обернулась, грациозно тряхнув чёлкой, и открыла мне лицо, изрытое временем, как лопатой. Потом машинально крутанула свой глобус, и я заметила, что он тоже рельефный, а сквозь горную оболочку вот-вот пробьётся вулканическая лава.

Однажды Глубоковского выгнали из класса прямо на уроке географии, а он снял этот глобус с подставки и пнул ногой, как футбольный мяч. Мы даже и не знали, что он так легко разбирается на части!

Впрочем, Глубоковскому многие вещи давались легко, и он не жадничал, делился с другими. Как-то поймал муху в банку и поставил на перемене на подоконник, чтобы все смотрели. Я тоже подошла. Но выдержать это было невозможно. Муха ни секунды не сидела спокойно: всё время перебирала лапками, то стряхивая что-то с рыльца, то одёргивая крылья, как оборки сарафана. Такая увлечённость собой в столь примитивном существе угнетала. Чем же мы тогда лучше?

Учителя жаловались, что Глубоковский чудовищно любопытен, но на самом деле он просто интересовался другими вещами и в них всегда старался доходить до сути. Например, он рассказывал, что один раз поставил себе целью увидеть свою маму голой и почти добился этого. Они поехали купаться в Озерки, и она зашла в кусты, чтобы переодеться. А он в это время как закричит из воды: «Тону! Помогите!» Мама тут же выскочила из кустов и понеслась к нему как была, без лифчика. Даже забыла с перепугу, что он плавает лучше неё. Так он хитро всё подстроил! А меня тогда поразило, что Глубоковский кому-то нужен, что кто-то крепко держится за него, не давая уйти на дно.

В школе его мама, кстати, появилась всего один раз. Классная тогда раскричалась, что у Глубоковского неправильно обёрнуты учебники. Надо было в специальные обложки с кармашками для переплёта или на худой конец в нервущуюся однотонную бумагу, а он завернул в газету — как селёдку на рынке. Это классная так сказала. Она почему-то очень боялась рынка и вообще всего, что связано с едой. Когда один мальчик на перемене развернул у себя на парте бутерброд, она строго скомандовала:

— Выйди с ним в туалет!

Наверное, хотела привить нам любовь к возвышенному, которым мы занимались с ней на уроке литературы. Мечтала, чтобы нас как можно меньше связывало с вещественным миром, и через эту мечту сделалась особенно подозрительной. Теперь ей везде мерещились осколки материальности, которые надо было выгребать из нас, как сор из кабинета. Глубоковский, сам того не ведая, навёл её на мысль о том, что в учебнике, возможно, спрятано некое непредусмотренное программой наслаждение — острое и немного запретное, напоминающее по вкусу солёную рыбу.

Поставили в известность директора, который тут же звонил его маму. Мама Глубоковского, как оказалось, работала уборщицей в яслях-саду через дорогу, поэтому ввиду чрезвычайной срочности происшествия смогла прибыть в класс уже минут через десять. Классная не сразу её заметила. Она как раз рассказывала что-то о чудодейственной силе книжек, которые и в блокаду помогали людям выживать почти без хлеба. Руки она раскинула в стороны, будто готовясь взлететь, и теперь в одной из растопыренных ладоней у неё лежала голова Пушкина с настенного портрета, а на другой всепрощающе улыбался Гоголь. Дневной рацион духовного выживания.

Мама Глубоковского застыла под самой дверью с полуоткрытым от удивления ртом. Наверное, после яслей всё здесь казалось ей слишком большим. Сама она была едва ли выше Глубоковского и не то чтобы толстая, а как будто состоящая ниже подбородка только из живота и груди. Она даже не успела переодеться: так и пришла в чернильного цвета рабочем халате,

в котором, вероятно, только что мыла горшки. А может, у неё и не было лучшей одежды, и она уже привыкла оборачивать себя во что попало, как учебник в газету, не видя в этом ничего особенного. Растянутая вязаная шапка с круглым выпуклым узором постоянно сползала ей на глаза, и она поправляла её тем движением, каким обычно откидывают со лба волосы, но почему-то никак не догадывалась снять.

Классная посмотрела на неё с кафедры, как со сцены, и молча направила указку на парту Глубоковского, где уже были разложены вещественные доказательства. Силась понять, чего от неё хотят, гостя ещё несколько раз поправила шапку и наконец, словно окончательно сдавшись, положила обе руки на свои груди — единственное, на что она могла опереться в этом мире, как наша классная на Пушкина и Гоголя. Мне тогда показалось, что шапка чуть намочла спереди: наверное, на улице шёл дождь.

Чем всё это закончилось, я не помню. Глубоковский потом редко доставал свои учебники, и о том, во что они обернуты, никто уже не думал. Но газеты всё же пришлось снять. Их обрывки некоторое время передавались у нас из рук в руки, как листовки. Оказалось, что это телевизионная программка. Хотя все знали, что у Глубоковского нет телевизора. Но он рассказывал, что его мама любит иногда почитать программу передач. Ей специально оставляли на работе. А папу своего Глубоковский помнил плохо — просто какой-то мужчина с бородой, вот и всё.

Мы расспрашивали его ради шутки:

— С какой бородой? Как у Ленина?

Он угрюмо мотал головой:

— Нет-нет, такая, по щекам.

— Как у Льва Толстого?

— Нет, покороче.

А когда нас водили на экскурсию в Исаакиевский собор, Глубоковский вдруг показал куда-то вверх:

— Да, вот такая борода!

Но все уже забыли, о чём речь. Одна я на обратном пути остановилась перед тем витражом. Стояла, задрав голову, смотрела и никак не могла понять: что, интересно, такой мужчина мог найти в его маме?

Впрочем, я вообще очень плохо понимала мужчин и совершенно не знала, каково это — быть на их месте.

Один раз, переодевшись на физкультуру, мы пришли в спортзал чуть раньше, когда там ещё тренировался восьмой класс. Кто-то из мальчишек стал показывать всякие фокусы на брусках, а потом эффектно спрыгнул вниз и, оттянув нарядные спортивные трусы, плёпнул себя резинкой по животу. Под ними не было белья, и в течение одной секунды я могла рассмотреть то, чего ещё ни разу не видела так близко. Ничего особенного. Просто маленький отросток в обрамлении редких светлых волос, сидящий как-то некрепко, как помпон на кофте. Восьмиклассник, не ведая о своём разоблачении, повернулся спиной и героем зашагал в раздевалку. А я потом, встречая его в школьных коридорах, никак не могла отделаться от чувства жалости. И каждый раз обещала себе, что ни за что на свете, ни под какими пытками не выдам его тайну!

Но если разница между нами так ничтожна, что даже неловко об этом говорить, то почему бы мне не попробовать стать мальчишкой — хотя бы на один день? Нужно просто делать вид, что в голове у тебя всё устроено по-другому. Вот, например, приходишь в Эрмитаж. Конечно, хочется поскорее к картинам на мифологические сюжеты. Там всё самое важное: любовь, примерка украшений, амурчики, с трудом удерживающие на пухлых руках цветочные гирлянды... Но нет, нарочно налагаю запрет на эти залы и смотрю только то, что интересно мальчикам. Например, охотничьи сцены. Целый зал, полный собак, рвущих зубами леопарда или облепивших со всех сторон агонизирующего медведя. Очень поучительно! Внутри явственно просыпается что-то мужское. Представляю себя во главе отряда охотников. Чувствую, что не могу уже усидеть в седле, и сама бросаюсь на загнанную дичь, впиваясь в шкуру выросшими вдруг откуда-то клыками. Кровь брызжет фонтаном, но меня не остановить! Я хочу пройти этот путь до конца, пока не научусь думать и чувствовать так же, как мужчины.

Рядом две женщины в полупрозрачных платьях рассматривают малахитовую вазу, нарочно игнорируя кровавую бойню.

— Какая тонкая работа! — восхищается одна.

Смотрю на них с презрением. Кто же будет, спрашивается, защищать их, если наступит война? Ну конечно я! А они, такие утончённые, останутся в тылу!

Иду дальше, в Рыцарский зал. Собираю в кулак всю волю, чтобы не забыть, что я мальчик, и внимательно разглядываю доспехи и оружие. Вижу себя под забралом и пытаюсь придумать какой-нибудь боевой клич, с которым так хорошо, должно быть, идти в атаку. Но нет, чего-то не складывается. Надо ещё потренироваться.

Последняя надежда — Галерея героев 1812 года. Портреты русских воинов внутри одинаковых прямоугольников радуют глаз, как орнамент на обоях. Но разглядывать каждого в отдельности нет никакого желания. Один, впрочем, немного похож на Глубоковского. Тот же вызывающий взгляд, который так не любят учителя, и растрёпанные волосы, которые художник, вероятно, долго укладывал кистью в соответствии с романтическим идеалом. Гусарская пшуровка на груди, как проступивший сквозь кожу скелет — тайный знак общества всегда готовых к смерти.

Я тут же представила себя его женой — нелюбящей и нелюбимой. Я бы ждала его из походов, чтобы потом с отворачиванием прислушиваться к храпу на соседней подушке. Мы бы ходили под руку на прогулку вокруг усадьбы, а он бы читал навеянные ему ветром военных пожарниц стихи. Потом бы я уже совсем решилась сбежать к умному и красивому, но в последний момент пришло бы известие, что в одном из боёв, в порыве бессмысленной храбрости ускакав вперёд всего полка, он потерял ногу. И я бы осталась. Ведь любить инвалида гораздо легче, чем просто умного и красивого.

Классная сказала, что Глубоковский и так почти что инвалид. Что он совсем ничего не понимает на уроках и надо перевести его в специальную школу для умственно отсталых. Но ведь и я тоже ничего не понимала — просто не подавала виду! Моя мама говорила, что школьная программа рассчитана на учеников среднего ума. Но им на лекциях в медицинском институте рассказывали, что даже дебилы при желании и определённом усилии могут её освоить. Я потом ещё специально

уточнила по учебнику психиатрии: действительно бывали случаи, когда клинические дебилы ценой невероятных усилий и нечеловеческого прилежания получали аттестат зрелости и даже поступали в университет.

Я тогда сразу догадалась, что это, наверное, про меня! Пока другие после уроков спокойно играли во дворе, я заучивала наизусть целые параграфы, чтобы только никто ничего не заподозрил. Результат был очень скромный, но я-то знала, что это моя личная большая победа! В то же время я чувствовала, что могу попасться на мелочах. Все обсуждали телефильм «17 мгновений весны». А я помалкивала, стесняясь признаться, что после второй серии безнадежно потеряла нить. Или возьмём для примера «Болека и Лёлека»! Кто-нибудь может мне объяснить, куда они всё время идут? В чём вообще смысл происходящего?

Со временем, правда, научилась как-то жить с этой пустотой, с этим хроническим недопониманием. Каждый должен возделывать свой сад, даже если в нём ничего нет, кроме калитки. Вот и у меня: все руки в мозолях, а ростков не видно!

Моё последнее школьное воспоминание о Глубоковском.

На перемене между уроками труда он вдруг вбежал в кабинет домоводства, в это царство швейных машинок, кастрюль и прочих женских орудий труда, перейдя границу, которую наши мальчишки обычно не решались нарушать, как порог девчачьего туалета. Я сидела над шитьём, пытаюсь закончить какой-то образец. Кроме нас в кабинете никого не было, и когда он прикрыл за собой дверь, на мгновение стало немного тревожно. Но Глубоковский и сам, кажется, не знал, чего ему надо. Может быть, просто хотел доказать, что он действительно может проникнуть куда угодно.

Прошёлся между партами, как хозяин, презрительно глядя на пробитые одинаковыми машинными строчками куски набивных тканей. Потом одним прыжком забрался с ногами на газовую плиту, подтянулся к самому верхнему шкафчику, куда на моей памяти никто не заглядывал, и начал шарить там вслепую в поисках чего-то, будто не сомневался, что оно должно там быть. Послышался низкий, как удар колокола, металлический звук. Это перевернулась жестяная банка с манной крупой. Белая

струйка потекла с полки на кафельный пол, а Глубоковский засмеялся и, спрыгнув вниз, подставил под неё язык. Я только тогда обратила внимание, какой он у него длинный и красный, почти малиновый.

Когда девочки начали возвращаться в класс, его уже и след простыл. Я молча доделывала свою работу. Учительница, войдя последней, сразу обнаружила аварию.

— Кто рассыпал манку? — строго сказала она. — Признавайтесь скорее! Кто из вас рассыпал манку?

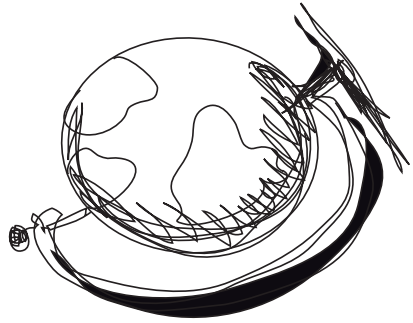
Но я его, конечно, тогда не выдала. А вот теперь пишу. Потому что ведь на самом деле очень важно знать, кто её рассыпал и что это не была одна из нас.

Недавно я опять встретила Глубоковского. Он стоял по пояс в каком-то люке, передавая инструмент своему напарнику. Заметив меня, он крикнул как ни в чём не бывало:

— Здорóво, Васильева!

Я успела заметить, что язык у него всё такой же малиновый. Или это просто так казалось на фоне немытого лица? Больше ничего не разглядела, потому что прошла мимо, не останавливаясь. И ещё потому что в правом глазу вдруг что-то царапало, как тогда, когда он попал в него графитом.

Жаль всё-таки, что не поговорили. Ну ничего, может быть, ещё увидимся. Где-нибудь там, на глубине. **¶**



11

Александр Мильштейн

Подстанция

Фрагмент из повести «Тиновицкий»

Утром, наливая воду в кофеварку, Тиновицкий заметил след от ожога на указательном пальце. И тут же ещё одну водянку — совсем маленькую, на безымянном.

Но он не помнил, чтобы он вчера где-то ожёг пальцы.

Вроде бы угли из костра не таскал...

Да ведь и костра никакого не было: гриль-парти из-за погодных условий было перенесено с берега Изара под крышу дома Наглеров.

Выпив кофе, Тиновицкий понял, что это не ожоги, а мозоли, натёртые струнами.

Да, от игры на гитаре, которую он с юности не брал в руки, отчето мозоли, которые выросли там в детстве, когда он брал частные уроки (недолго), исчезли.

Он думал, что они будут с ним всю жизнь, но вот оказалось, что невидимый мозольный оператор потихоньку всё-таки работал и за сорок лет гробового молчания мозоли исчезли, подушечки пальцев снова стали мягкими, как встарь-вмлад.

До встречи с «Орфеем» болгарского производства.

То есть, не то чтобы он вчера совсем уж впал в детство... но пальчики, похоже, вернулись...

Только кончики, а фаланги остались здесь, в будущем...

Да, но где они бегали вчера, все эти его пальцы... и как долго, и насколько... ужасно это было для окружающих?

Он вспомнил, как музыканты начали играть блюз, рассеявшись в разных углах огромной гостиной Наглеров... Вспомнил и то, как он после этого встал и спустился в подвал за недобитой в прошлый раз (им самим) бутылкой «Джеки Дэниэлз».

В подвале он заметил гитару со стальными струнами, лежащую на кожаном диване, схватил её за гриф и принёс наверх вместе с бутылкой.

Там его приняли одобрительно, произошла быстрая переключка, в результате которой он подстроился, музыканты стали играть дальше, а он какое-то время сидел смирно, беззвучно, и думал, что на этом его участие закончилось: просто подержит в руках свою юность и всё, как статист, ну максимум, можно отбивать ритм, тихонько постукивая по деке.

Но, налив себе первый виски после неизвестного количества «августинеров», Тиновицкий выпил *«auf ex»*¹ и решительно взял первую ноту.

Как потом вместо опустошённой бутылки «джэки» возле него оказалась новая, и как он играл, и что, и как... на это реагировали другие? — он не мог вспомнить.

Где-то здесь начинался провал, при том, что он чётко помнил всё, что было перед этим: например, как он беседовал тет-а-тет с Ахимом Наглером в его кабинете, помнил серую толстую книгу Наглера, в которую тот десять лет записывал свои сны...

Тиновицкий вспомнил даже один из снов Наглера, который успел прочесть, и в котором появлялась их общая знакомая... но при этом он совершенно не помнил свою собственную явь примерно с того момента, как начал играть.

Ему стало стыдно: он представил себе, как, по мере осуществления «джэки», его гитара издавала всё более непотребные вопли.

Дело было не только в том, что он не прикасался к ней в зрелом возрасте (минутные встречи в гостях раз в несколько лет не в счёт), а в том, что и тогда, когда он как бы играл в юности, это нельзя было даже назвать «самодеятельностью», это было как... напевают под нос абракадабру-арино, не предназначенную даже для своих, не говоря о посторонних... ушах.

Он взял телефон, набрал номер Имке и сказал: «Скажи честно, насколько это было ужасно? Все поминали меня злым тихим словом вдогонку?» — «Я не знаю, — сказала Имке, — я ушла вместе с тобой». — «Правда? И что... Нет, но ты скажи

¹ До дна (нем.)

сначала: это был кошмар? Я же не умею играть на самом деле, помню три аккорда...» — «Да нет, ничего ужасного... Мне понравилось». — «Это — тебе... ты же сестра милосердия... Спасибо, что отвезла меня... А другим каково?» — «И Мартин, и Густав говорили мне, что ты очень необычно играешь». — «Да уж... необыкновенный концерт... русское маппет-шоу... Но всё-таки, Имке, рискую показаться занудой, но скажи честно... ужасно, да?» — «Да нет же, говорю тебе, всё было ОК».

Повесив трубку, Тиновицкий понял, почему он так повышенно недоверчив, при том, что вопрос ерундовый — ну, какая в сущности разница, как он играл, если он не музыкант.

А потому, что Рита бы сейчас принялась живописать во всех подробностях, какой он учинил кошачий концерт и пьяный дебош.

Осенённый своей догадкой, Тиновицкий перенёсся в другое тысячелетие — в тот день, или точнее, *the day after*², потому что вот именно тот день, когда они впервые побывали в гостях у Феликса, он не мог вспомнить уже тогда.

А на следующее (воскресное) утро Рита, увидев, что Тиновицкий разлепил веки, привстала на локте, чтобы разглядеть его лицо и хитро шурясь, спросила, помнит ли он, что он вчера вытворял.

«А что? — спросил Тиновицкий, — ну выпил немного, ну и что такого...»

«Немного? — расхохоталась Рита. — Немного, да?!»

Надо сказать, что Тиновицкий тогда действительно пил редко, и алкоголь на него иначе действовал, то есть не так, как сейчас, когда он частично всё-таки что-то вспомнил, погладив водянку.

И совсем не так, как в добрачный период... Впрочем, возможно, только потому, что до замужества Рита ещё не открыла в себе эту способность к заполнению провалов в памяти мужа.

О, впоследствии у неё в таких случаях загорались глазки... И, глядя на неё, Тиновицкий думал (но вслух не говорил, нет) примерно следующее: «А ведь только в такие моменты, дорогая, ты чувствуешь себя на своём месте, правда?.. В остальные мо-

² Здесь: в следующий день (англ.)

менты... уже не первый год я вижу в твоих глазах глубокие сомнения в том, что всё это нужно проходить вдвоём, одну жизнь на двоих, зачем смотреть на всё четырьмя глазами, когда хватает двух... И только когда я напиваюсь до беспамятства, ты не сомневаешься, что жизнь вдвоём имеет смысл — ты можешь рассказывать мне все эти небылицы, тебя это возбуждает, после этого, как правило, мы занимаемся любовью...

«Ты правда ничего не помнишь?» — спрашивала Тиновицкого необычайно возбуждённая и жизнерадостная супруга, после чего подпрыгивала на кровати и принималась, показывая частично жестами, описывать его вчерашние «подвиги».

1. Он поломал любимое кресло Феликса — «Так ножки и разъехались — вж-ж-ж-ж-ик...»

2. Он обрушил этажерки с любимыми книгами — ба-бах...

3. Он поломал стол — трах-тиби-дох-ти!.. да-да, старинный фамильный стол Протасовых, ты и на него падал...

4. Он предложил Лене секс! Да-да-да, Тиновицкий, ты — сволочь! Ты вдруг плюхнулся рядом с ней на кушетку, ты сгрёб в охапку бедную Леночку и сказал, что это... нормально! «Это в порядке вещей!» Что ты давно о ней втайне мечтал! А всё тайное когда-то становится явным! Мы с Феликсом еле тебя от неё оттащили!

«Ну, а что было потом?» — «Потом? А потом мужественный маленький Феликс, как муравей деревяшку, тащил тебя до такси! По глубокому снегу! Ты упал на него и зарыл его своим весом в сугроб! Я кое-как его откопала, и мы понесли тебя дальше! Ты хоть позвони — извинись! Ты же им устроил разруху — ты половину их мебели уничтожил!»

В другой раз она рассказывала ему, что он накануне в ателье знакомых художников мало того, что разломал табуретку, так ещё начал её рубить дальше — топором, который у них там лежал, и бросать щепки в камин, хохоча... а потом хотел порубить мольберт и остальную нехитрую мебель мастерской, но ему не дали.

Было ещё раз что-то пироманическое в её рассказах... «Ты не помнишь, — через пару-тройку лет говорила она Тиновицкому, — как ты, наклюкавшись, пошёл на кухню и там по-

держал над конфоркой декоративный терновый венок, нет?.. И он загорелся, Тиновицкий! Ты чуть не спалил весь дом!»

«Ну что за чушь ты несёшь? — возмущался Тиновицкий, поворачиваясь к стенке. — Я не верю ни одному твоему слову! Я себя знаю: я, когда выпью, сижу, посапывая, тихий, как младенец, накормленный грудью...» — «Вот это точно — ты хватал жену Паши за грудь — лез в декольте! Я должна была бы устроить тебе сцену, Тиновицкий!» — хохотала Рита, хватаясь за животик, пока Тиновицкий набирал телефон очередных «потерпевших».

«Я приношу свои извинения, — говорил он, — Рита мне рассказала... Я готов на компенсацию».

Феликс, а потом и другие пострадавшие, уверяли его, что не за что ему извиняться и нечего компенсировать, ничего не было, всё цело и невредимо, Рита просто шутит.

«Она тебя разыгрывает».

«Но как же кресло... твоё любимое кресло, и стол, как ты будешь без них, его можно починить?» — первый раз долго допытывался Тиновицкий. «Да цело всё!» — повторял Феликс.

«Ты всё наврала» — сказал он Рите, положив трубку. «А что ты хочешь? — сказала она. — Феликс вежливый человек. Конечно! Он тебе не скажет что было на самом деле, он такой гостеприимный, вежливый...» — «Да ладно, — сказал Тиновицкий. — Ты мне будешь говорить... я его лучше знаю. Стало быть, ты всё сочинила...» — «Да нет же! — божилась Рита. — Ни слова! Всё так и было! Клянусь!»

Кстати говоря, я вот вдруг сейчас только понял, что, как бы сказать, «пальма первенства» в сочинении «Тиновицкого» принадлежит, таким образом, не мне (кем бы ни считал меня Тиновицкий — своим хронистом, «пишущим големом»... *egal*³), а его бывшей супруге.

Однако вернёмся теперь к нашему повествованию: герой наш уже почти забыл о вчерашнем бламаже и перестал «париться», не то чтобы он полностью поверил доброй фее с пчелиным именем, но он думает примерно так: кресла он, похоже, вчера и в самом деле не ломал, никого не пытался изнасиловать, в камин ничего не метал, не рвал в конце концов... или разве что — стру-

³ Всё равно (нем.)

ны, как у знакомого скульптора когда-то — но потом купил и занёс пакетик с «солью» (третьей)... а тут вот, может, и вовсе только подёргал... «соло на унитанго»... но сливные бачки иначе устроены... Тиновицкий вспомнил, как Феликс когда-то у них в гостях учинил разруху не на словах, а на деле — дёргал цепочку в туалете так долго, что сверху обвалился бачок и открылась дверца в другое измерение... Это было нечто эвристическое, то есть не тогда, когда бачок обвалился — не совсем ему на голову... а перед этим: Феликс в тот момент решал интересную задачу и представлял собой наглядное подтверждение слов, сказанных Бергсоном о математиках: «сомнамбулы, истуканы-аутисты...»

Раздался звонок, представившись, голос сказал: «Послушав вчера, как ты играл, мы захотели пригласить тебя на свою репетицию. Как тебе такое предложение? Может быть, мы введём твоё соло в одну из композиций для новой пластинки, для придания ей такого нового ингре...»

«Надеюсь, что ты просто шутишь, — прервал его Тиновицкий, — а не издеваешься. Вообще-то, это был не я, а джеки... ну, перебрал, бывает...» — «Да это неважно, что это было, главное, что было хорошо!» — рассмеялся Мартин. «Как сказать, — грустно возразил Тиновицкий, — для меня этот день важен, потому что, забыв его вечер... я понял, что пора завязывать... со спиртным. Мартин, мне крайне лестно такое неожиданное предложение, если это не шутка... Но, во-первых, я не уверен, что смогу сыграть простейшую гамму... Тем более, без виски». — «Но почему не попробовать? — сказал Мартин, — тем более, что, помимо виски, есть в этом мире и другие... ингредиенты». «*Kräutertee?*⁴» — сказал Тиновицкий. «Почему нет? — снова рассмеялся Мартин. — главное, чтобы не краут-рок!» — «Так, а что вы там играете?» — «Мы там играем пост-метал». — «О. — сказал наш герой. — *Warum nicht?*⁵»

Зал для репетиций группа Мартина снимала в сурово-блочном здании, стоявшем на окраине *Industriegelände* («промзона»).

Мартин попросил Тиновицкого, когда он придет, позвонить по мобильному, чтобы тот спустился и открыл ему калитку.

⁴ Травяной чай (нем.)

⁵ Почему нет? (нем.)

Ожидая, Тиновицкий рассматривал огромную железную саранчу, прилепившуюся к фасаду... «Может, реостаты или просто какие-то резисторы... или как там... вентильные разрядники?» — на этом запас его знаний об электричестве исчерпывался.

«А это что же, подстанция?» — спросил Тиновицкий, когда Мартин открыл калитку, простроченную, как и весь забор, колючей проволокой. «Да, — сказал Мартин. — Но она теперь не работает, помещения сдаются довольно дёшево». — «Джэм в доме, в котором никогда не вылетят пробки», — каламбурит наш «трилингвист».

Внутри всё так же голо-бетонно, как снаружи — на лестнице, а потом и в коридоре, сквозь двери которого видны мёртвые железные шкафы.

Тиновицкий даже до того, как забыл всё, что учил в школе-институте, был нулевым электриком (лампочку вкрутить — предел его возможностей), и сейчас он не особенно присматривается к начинке подстанции, скользя только краем глаза по железным шкафам, которые видны сквозь приоткрытые двери комнат... к тому же Мартин, который выше Тиновицкого почти на голову, шагает быстро, и Тиновицкий почти бежит за ним по узкому коридору.

Вот они уже вошли в неожиданно большой зал, где стоят сразу три ударные установки.

Везде — неимоверное количество проводов, огромная катушка — как у связистов на столетней войне... микрофонные стойки, тут и там грифы гитар... у окна — пульта управления подстанцией.

Да нет, это всё миксеры... Тиновицкий дотрагивается пальцем до тумблера, а потом показывает взглядом, обводя рукой зал, что он впечатлён.

За дверью обнаруживается узкая, как коридор перед этим, каморка — «вагончиком», набитая людьми.

Ну, набитая — это сильно сказано, там всего пять человек, включая Мартина и Тиновицкого, но это каморка, да, причём такая тесная, что кажется тюремной камерой.

Может быть, ещё из-за присутствия человека, который сидит на стуле в одних трусах с красными лампасами. В нём есть что-то первобытное — в его выпуклых надбровных дугах, в

каменном торсе, покрытом, как и жилистые руки, гравировками, среди которых, кажется, присутствуют и тюремные... ну да, вот эти пауки, например.

Человек оставляет на миг бумажный свёрток, который он сооружает (в такие бабushки у метро насыпали когда-то семечки), пожимает руку Тиновичкому и говорит, что его зовут Уве.

Руки у него грязные, но не пачкаются, нет... какая-то на них давно засохшая смола или мазут.

Мартин говорит Тиновичкому: «Это наш ударник», — Уве ещё раз отрывает глаза от пародийного косяка, смотрит на Тиновичкого и улыбается. Во рту сверкает золотой зуб, чернеет шербина, остальные клыки на месте.

Тиновичкому эта улыбка кажется канибальской ещё до того, как он узнаёт, что в какой-то период своей жизни Уве возил в Мюнхен маски из Папуа — Новой Гвинеи.

А потом арт-дилер, командировавший его в дальние края, продавал их на аукционах, Уве получал свою долю.

Собственно, канибалами были те, с кем он там общался, а Уве платил им ровно за то, чтобы они его не съели, как сына Рокфеллера, а провели куда надо, но... это официальная версия промысла, — подумал Тиновичкий, покурив, — а глядя на него непосредственно, кажется, что это.... большой вопрос, кто кого там мог съесть на самом деле, если он уже в девять лет съел воспитательницу...

Уве между прочим рассказал и то, что в девять лет он ударил утюгом воспитательницу в интернате, которая «над ним издевалась».

Опять же, съел не съел, неизвестно, но: «С тех пор её никто не видел!»

Пауки, *pauken*, машинально думает Тиновичкий, это литавры в симфоническом оркестре...

В какой-то момент Уве рассказывает эпизод из своей жизни за решёткой, неинтересный, Тиновичкий сразу забывает... и за что он сидел, остаётся для нас неизвестным.

Точно не за провоз двухсот граммов гашиша в Таиланд, потому что в самолёте была охрана, и когда Уве начал совершать безобразия, как правило, неизбежные во время его полётов после распития полутора «лётных» литров «Егермайстера»...

Ну да, на него там, как правило, находит: он встаёт посреди салона и достаёт свой член, а дальше по-разному... иногда то есть просто им размахивает, но в тот раз таки отлил в стаканчик соседа, не вместивший всю мочу... после чего подошла охрана — на «Боингах», летящих по этому маршруту с какого-то времени всегда есть охрана для борьбы с терроризмом, в ходе которой ему вломили и прикрутили к сиденьям, а потом, найдя в ручной клади серебристый мячик, который Уве прихватил, чтобы отпуск не пошёл насмарку, повели его в туалет на поводке, как собаку, чтоб смотреть, как они спустят гашиш в унитаз.

Тиновичкий думает, что Уве похож на бультерьера, который, в противоположность Шарикову, отрастил длинные волосы и усы цвета табака, который он добавляет в джойнты.

Во всяком случае, пашет как зверь, а не только... с колокольни машет, разгоняя облака... как некоторые... — думает Тиновичкий, глядя на то, как Уве работает после всего выпитого и выкуренного: в воздухе сверкают лопасти тарелок, тело блестит, а глаза — когда он встречается с ними взглядом — смеются. При том, что композиции Мартина длинные — в среднем по двадцать минут, и работает Уве поразительно... хорошо стучит, да... как Бонэм, воскресший на даче после того, как погиб от водки...

Тиновичкий уже принял твёрдое решение: не брать гитару в руки в их присутствии.

Он вспоминает первый курс института: в коридоре висит объявление о наборе музыкантов в студенческий ВИА. Запёл после лекций в указанную аудиторию, где-то на первом этаже, с правой стороны, и там его встретил рыжий парень, который пожал Тиновичкому руку, а при этом левая его рука не прекращала бегать по грифу — правая не участвовала и после того, как он отпустил руку Тиновичкого, и звук был очень тихий и не мешал разговору — когда пальцы левой руки быстро прижимают струны к ладам выключенной электрогитары, получается очень тихий звук, но если стоять рядом, то слышно... как будто поток сознания, переведённый в ноты. И в этом подспудном течении сплетались и расплетались всевозможные мотивы, каждую секунду происходили открытия, буквально лишавшие Тино-

вицкого дара речи... Короче говоря, машинальная игра Рыжего одной рукой произвела на Тиновичского такое впечатление, что когда Рыжий, наконец, сказал, ну так что, записываем тебя в ансамбль, даже не предлагая ему что-нибудь сыграть для пробы... «Нет-нет, — смутился Тиновичский, — я просто так зашёл... я не хочу записываться... я это... просто так, да... шёл в туалет и услышал... ну, то есть не услышал, а... ну да, как говорится... просто вышел, вот именно...»

Второй гитарист — Тобиас — невысокий худой человек неопределённого возраста с длинными тёмными волосами, в очках с сильными линзами и великоватом чёрном пиджаке.

Пиджак живёт собственной жизнью в те моменты, когда Тобиас берёт аккорды.

Когда он играет соло, пиджак неподвижен.

Сейчас Тобиас, ухмыляясь, скручивает очередной косяк, размером поменьше, чем у Уве, но зато *Tüte*⁶, без тютюна⁷... Курит только он один, остальные отказываются, даже Уве выставляет ладонь — «мне хватит». Покурив, Тобиас говорит Тиновичскому: «Ты видел в ясную погоду, что небо расчерчивают белыми полосами самолёты? Ну вот, а потом эти полосы распираются, и уже всё небо выглядит, как облачное... А на самом деле это наши дорогие американские друзья нас так щедро посыпают алюминиевым порошком... Специальные самолёты для этого летают... Зачем? Во-первых, чтобы не было глобального потепления — чтобы солнце не так нагревало Землю, там у себя они этого не делают, а с нашей стороны можно... И даже нужно! Потому что, во-вторых: они таким образом регулируют население...» «А мне нравится!» — говорит Уве. «Что тебе нравится?» — спрашивает Тобиас. «Что меня посыпают!» — говорит Уве. — Мне это в кайф, понятно? То что нужно! Хорошая новость, спасибо! Я столько всего употребил в этой жизни, что у меня теперь всё наоборот: яд приносит пользу моему здоровью! Я — мутант!»

И он предлагает продолжить репетицию.

А когда они умолкают, Тиновичский чувствует, что ему

⁶ Пакет (нем.) или джойнт без табака (нем.)

⁷ Табак (укр.)

совершенно не хочется ехать домой, двигаться... хочется замереть, чтобы не мешать тихому вращению калейдоскопа. Он спрашивает, нельзя ли ему здесь остаться на ночь? «Как ты это себе представляешь?» — улыбается Мартин. «Очень даже хорошо представляю... — говорит Тиновичкий, — дашь мне ключи, а завтра встретимся в городе, и я отдам. Тебе не придётся сюда ехать... Посплю на том диванчике, можно же снять с него провода?..» Уве смеётся и хлопает его по плечу, Мартин говорит, что подбросит его домой на своей машине. По коридору идут гуськом, Тиновичкий, слегка наслюнявив сухим ртом палец, зачем-то (возможно, попытавшись и не сумев представить, что должно быть в голове у человека, который верит в *chemtrails*⁸) оставляет на серой стене короткую полоску, которая вскоре после того, как гаснет свет и хлопает входная дверь, исчезает. **ЮИ**

⁸ Химиотрассы (англ.) — вещества, которые, согласно упомянутой в тексте конспирологической легенде, распыляют с пассажирских самолётов. (Прим. ред.)



Семён Коган

Грустно

Почему мне сегодня так грустно?

Если бы в квартире было холодно, я бы повернул вентиль радиатора и пришлось бы снять даже рубашку. Но я вентиль не поворачиваю, потому что в квартире тепло, а мне почему-то грустно.

Если бы сегодня что-нибудь случилось: наводнение в Испании, пожар в Калифорнии, землетрясение в Турции, я бы, конечно, выразил им своё соболезнование, мысленно, и некоторое время думал бы о коварствах бытия. Но телевидение сообщило, что в Испании засуха, в Калифорнии горят только кандидаты в губернаторы, а в Турции трясёт лишь наших челноков и никаких серьёзных происшествий ещё не наблюдалось. А я смотрю новости и думаю, что мне сегодня особенно грустно.

Жена говорит:

— Всё это — издержки нашей жизни! Эмиграция даёт о себе знать!

А я возражаю:

— Человеку не всегда весело! И эмиграция тут вообще ни при чём!

Если бы нужно было сбегать в магазин, простоять полдня в очереди, поругаться с продавщицей, закупить продукты, я бы с удовольствием сбегал, постоял, поругался и закупил. Магазин рядом, и продуктов в нём — на любой цвет. Продавцы всегда вежливы, а очереди только в нашем воображении.

Но всё необходимое я приобрёл ещё вчера, холодильник набит, бутылка уже месяц не распечатана, на балконе арбузы дозревают, а мне никуда не надо, даже если жена посылает, тем более, что сегодня по-настоящему грустно, а причин грусти никак не пойму.

Жена замечает:

— Сосед сверху безобразничает!

В прошлом году он переехал сюда из Казахстана, и каждый день добросовестно, громко и назойливо что-то долбает, то ли ремонтом занимается, то ли дом развалить собирается, то ли просто время коротает, как может, ностальгично укорачивает!

Но если бы причина заключалась действительно в нём, я бы грустил с момента его появления.

Почему же мне именно сейчас так грустно?

Может, потому, что никто мне писем не шлёт, по телефону не звонит, на рыбалку не приглашает, в гости не зовёт? Даже футбол я смотрю только по телевизору, на стадионе не кричу, с болельщиками не братаюсь, с противниками не объясняюсь. И даже на троих если и соображаю, то один за всех. Старых друзей я растерял, новых не приобрёл. Но случилось это не сразу. И я даже смирился, понимая, что никому до меня нет никакого дела.

Впрочем, как и мне — совершенно не хочется с кем-то, чего-то, как-то.

Почему же сегодня грусть хватает за горло? И душит, душит, душит...

Жена продолжает твердить:

— Это ностальгия! От неё никуда не деться! Эмиграция нас достала!

А я думаю: Живём мы здесь хорошо, и эмиграция в этом не виновата.

Что из того, что на работу не берут, на социале сидим, на диване лежим, мало общаемся и языка не знаем? Так ведь и возраст — не для карусели! И здоровье — не для подводного плавания! И местные — не для хорового пения!

И вообще... Сидеть можно, где угодно, если крутиться не надо!

Но почему мне так грустно?

Соседка, вроде, со мной поздоровалась! Сказала по-немецки что-то приятное.

Мусор я ещё с утра в контейнер выбросил. И даже куртку не испачкал! За телефон вовремя уплатил, на красный свет дороге несколько дней не переходил, зонт на скамейке не забыл, как сумку в сквере, собака меня не кусала. Только однажды с велосипедистом на тротуаре столкнулся, фару ему разбил, когда дорогу перекрыл... Но это случилось давно. Что-то в жизни должно же происходить, чтобы хуже не было...

Почему же мне совсем грустно?

Сын из школы приносит только хорошие оценки. И я рад, что мне не нужно туда ходить, с кем-то объясняться, как-то оправдываться, за него краснеть.

Здесь же ученики вообще ничего не знают. Бермудский треугольник от равнобедренного отличить не могут! Это их заботы, а у меня с сыном и до эмиграции проблем не было. С директором я не общался, потому что не хотел. Учителям ничего не дарил, дорогу в школу специально забыл.

А знакомая из Одессы, Циля Абрамовна Шпрингинбет, говорит, что лучше бы сын получал плохие отметки. Но я на неё не обижаюсь. Что взять с озабоченной женщины, которая даже в прежние времена считала, что Фидель Кастро — это заросший Фёдор Шлымыл с Молдаванки! И девочка её училась исключительно на двойки и единицы.

Сын обещает, что, когда вырастет, пойдёт работать в уголовный розыск уголовником, чтобы отправлять в угол тех, кто за углом. Я не возражаю, потому что никто не знает, что будет завтра. Тем более никто не может знать, что будет, если сын вырастет. Главное — сейчас дают деньги за то, что он хоть кем-то стать собирается.

Но если за всё платят, это же не причина для грусти? А я сник! Расслабился! Загрустил! Хотя и не понимаю, почему...

В окно гляжу. Всюду люди. Стоят, говорят, идут, смеются, общаются. Что-то несут, куда-то торопятся. В машины садятся, из магазина выходят. Ты их не знаешь, они тебя знать не хотят. Ты им: «Морген». Они тебе: «Чю-ус¹». И все при деле, себе на уме!

У них в руках — пиво, у меня — бутылка, в память об Александре Сергеевиче, потому как на прекрасное тянет.

Разные мы с местными во всём, даже если пиво пенится, а Пушкин не дожил до нынешнего абсурда.

Жена говорит:

— Эмиграция — вещь тяжёлая! Надо привыкать!

Я и привыкаю. С лимонада начал, до Пушкина дошёл.

¹ Здесь: «Доброе утро» и «До свидания» (нем.)

Мягкая водка, без империалистического привкуса. Примешь бутылку и сразу почувствуешь великую силу искусства.

А после всё равно грустно! Очень грустно! До боли в груди! До дыхания без воздуха! До полной пустоты!

Смотришь по сторонам и думаешь: Заграница тут вообще ни при чём! И эмиграция, между прочим, тоже... Кажется, уже поздно. Пора спать. **Ю**

Максим Кашеваров

Когда-то

Когда мне было три года, а тебе шесть, я бросил в тебя камень, чтобы проверить тебя. То ли на реакцию, то ли на прочность.

Когда тебе было три, а мне шесть лет, ты укусила меня за ногу, потому что я увлечённо разговаривал с другой девочкой.

Когда мне было пять лет, а тебе десять, тебе было уже неловко играть с маленькими детьми — и ты пряталась за занавеску, если я появлялся под вашими окнами и начинал заунывно выкрикивать твоё имя. В конце концов твоя мама не выдерживала и, выглянув, заявляла, что ты уехала к родственникам в Тюмень. Мне было пять, в Тюмени я никогда не был, поэтому полагал, что в Тюмени как в чулане — всегда темно и затхло. Туда ссылают нелюбимых родственников. Значит, ты что-то сделала не так.

Когда мне было семь, а тебе тридцать девять, я набрызгал бабушкины духи на пальто твоего мужа, потому что видел нечто подобное во французской комедии и надеялся, что вы поссоритесь, расстанетесь — и ты сможешь дожждаться меня, когда я стану усатым капитаном собственной трёхмачтовой шхуны. Однако твой муж почувствовал вонь и, рассвирепев, — и вот меня уже интересует нечто совсем другое: как лучше сверить проводку топенантов на судах типа шнявы? Крепление коренного конца ведь выполняется на ноке рея — или он подвязывается к одиночному блоку на эзельгофте?

Когда мне было пятнадцать, а тебе шестнадцать, мы решили ждать до восемнадцати. Но не дождались.

Когда тебе было двадцать четыре, а мне семьдесят два, ты ходила ко мне в гости, чтобы обсудить самоубийство Есенина и инсценированную казнь Достоевского. Мы пили чай, ели песочное печенье, я улыбался и кивал головой, автоматически ссылаясь

на свидетельства современников, а сам мучил себя только одним вопросом: неужели ты приходишь только ради печенья и чая? Говоря о неудачной суицидальной попытке Горького в 1887 году, я прокручивал в голове многочисленные варианты того, как бросаю тебя на тахту, срываю с тебя это платице — или что там у тебя — стаскиваю трусики и люблю, люблю сильно, пока ты не потеряешь сознание. Однако скоро темнело, чай остывал, спина ныла, правое колено сводило с ума, и, когда ты, рассыпаясь в благодарностях, наконец-то уходила, я каждый раз начинал чувствовать это, слышать звенящий голос вдохновения. С жадой крушить и создавать подлетал я к написанному накануне — долго изучал, исправлял одно слово и тихо уходил в тень.

Когда тебе было двадцать девять, а мне тридцать, ты проснулась с утра в пустой квартире. Ты не знала, где я, когда вернусь и чем тебе сегодня заняться. Ты бродила по квартире, что-то ела, что-то делала, о чём-то думала. Ты взяла пиво и мой ноутбук, в недрах которого скрывались новые серии любимых сериалов, и пошла на балкон загорать. А когда ты на ноутбуке нашла фотографии из моего прошлого и принялась их одну за другой стирать, ты заплакала. В этот момент я покупал для тебя папку с копиями японских гравюр.

Когда мне было девятнадцать, тебе едва исполнилось семнадцать — и ты не захотела знакомиться со мной на улице: в своей кепке я был похож на жулика из советского сериала.

Когда тебе было тринадцать, а мне сорок два, ты услышала по радио, что я разбился в авиакатастрофе. Ты не хотела верить и потому упрямо рассказывала одноклассникам, что я выжил и жду помощи на каком-то затерянном острове. Ты даже ходила смотреть на пляж — нет ли бутылки с моим посланием — и странным образом эта привычка осталась у тебя на всю жизнь: даже годы спустя, когда ты обзавелась семьей и выгуливала своих бледных детей, ты взглядом, неосознанно, искала в воде зелёную бутылку с сургучной печатью. Но вот дети кричат и размахивают руками — и ты, вздохнув, мчишься выпутывать вашу собаку из очередных рыбацких сетей.

Когда тебе было тридцать девять, а мне тридцать шесть, нам было тяжело определить на глаз возраст друг друга. Мы просто познакомились на открытии выставки — и нам стало жутко неловко оттого, как хорошо мы сразу друг друга поняли, — и оттого, что мы были с нашими многолетними спутниками. Ты суетливо и очень демонстративно, смеясь невпопад, искала в сумке мобильный, а я, пятясь, толкнул официантку с подносом — и все закуски оказались на полу (кажется, посетители только обрадовались этому обстоятельству, поскольку обсуждать инсталляции из пружинки и дохлых птиц было мучительно). Мы не знали, как нам вести себя дальше, мы не знали, насколько мы понравились друг другу, насколько это могло бы быть серьёзно и стоило ли рисковать. Мы сухо попрощались и больше никогда не виделись.

Когда мне был двадцать один год, а тебе тридцать два, ты всем рассказывала, что тебе скоро тридцать. Наверно, с этого момента время и пошло вспять.

Когда тебе было одиннадцать, а мне почти одиннадцать, ты мне не дала списать на контрольной по географии. И сразу — как по волшебству — тебе перестали приходить письма от тайного поклонника.

Когда мне было двадцать три, тебе тоже было двадцать три — и, воспользовавшись совпадением, мы решили пожениться. Помню, нам так тогда понравилась эта мысль, мы просто часами лежали и мечтали. Потом укутывались в огромное одеяло, но, ощутив, что этого недостаточно, заставляли себя встать и достать из шкафа несколько одеял потоньше. Тогда, через некоторое время утомившись, мы смотрели на потолок и заворожённо думали: Ну вот теперь-то мы по-настоящему окуклились... а утром проснемся... большими-большими ленивыми бабочками.

Когда тебе было восемнадцать, а мне тридцать семь, я рассказывал тебе, что всё никак не могу найти подходящего случая, чтобы поговорить с женой. Подходящего случая действительного не было, потом он когда-то подвернулся, но что-то там пошло не так, я просто не хочу вдаваться в подробности, ты же понимаешь, как для меня это всё сложно сейчас. И странным образом, несмотря на все ссоры, истерики и угрозы, эта ситуация

устраивала нас обоих. Мы же немножечко ненормальные, да? Потому и счастливы.

Когда тебе было семьдесят восемь, я уже не мог вспомнить, сколько мне лет, и ты каждый раз с раздражением напоминала мне об этом. Мы ели очень жидкий невкусный бульон и нуждались друг в друге.

Когда тебе было девятнадцать, ты ехала на велосипеде по берегу и курила украденные у брата сигареты. Ветер в лицо, велосипед жалобно позванивал на ухабах, экзамены были позади, ты была совершенно свободна и счастлива.

Потому что ты точно знала.

Что я ещё не родился. **Ю**

Вступление Дмитрия Вачедина,
руководителя литературной студии

Семь лет одиночества

Три рассказа молодых берлинских авторов. Три новых имени — **Юлия Ефременкова, Динара Расулева, Елена Лавин**. Прежде чем их представить, мне придётся сделать лирическое отступление — иначе получится, что они взялись ниоткуда, с Луны — а они не с Луны, они из русского Берлина. И вот почему это важно.

Есть мнение, что прозу можно писать не всегда и не везде. Ограничим — хорошую прозу на русском языке можно писать не всегда и не везде. Давайте договоримся, что проза — вещь достаточно хрупкая: нужна среда, нужна эпоха, нужна фактура и нужны ориентиры — что-то, за что можно держаться, на что можно опереться. Эти факторы есть не везде. Сейчас за пределами России прозу, пожалуй, можно писать в трёх украинских городах, Берлине и Нью-Йорке.

«Я не верю в русский Берлин. У него нет судьбы», — писал Шкловский. Он был прав — к концу тридцатых годов XX века от русского Берлина не осталось ни камешка. Однако сама биография Шкловского доказывает, что судьба — вещь недолговечная, вещь скоропортящаяся. У русского Берлина двадцатых была судьба, которой хватило на десяток гениальных текстов. Какой ещё судьбы тут можно желать? Хватит, хорошего понемножку.

И вот обстоятельства — и если вы здесь живёте, вы не можете этого не чувствовать — складываются так, что «русский Берлин» двадцатых возвращается в качестве факта культуры. Возвращается с новой судьбой — в понимании Шкловского. К сожалению, этому способствуют непростые времена, которые переживает Россия и — не без её участия — сопредельные страны. Но и это тоже относится к мифологии «русского Берлина» — тихой гавани, где можно переждать смуту, где бывшие враги

живут бок о бок и ходят по одним улицам. «Живём кучей среди немцев, как озеро среди берегов» — тот же Шкловский.

Хороший вопрос: почему «русского Берлина» не было или почти не было два десятилетия. Мне кажется, ответ прост: мы не были интересны сами себе. А сейчас — становимся интересны, всматриваемся в себя и в город, в котором живём. Та литературная студия, которая объединяет всех трёх авторов, студия, которую мне повезло вести — тоже часть этого процесса. Давайте вернём Берлин себе — его от этого не убудет. Один раз, в двадцатых, это уже получилось.

Только не надо думать, что у нас много времени. Чтобы стать писателем, нужно семь лет одиночества — не одиночества в смысле отсутствия среды, а ночного одиночества в борьбе со своими текстами. Как раз без среды тут не продержаться — есть исключения, но они — исключения. Примерно столько — лет семь — «русскому Берлину» и отмеряно. Через семь лет лучшие из нас перейдут на немецкий или вернутся (сами или только текстами) в Россию. Или поедут дальше, новыми маршрутами. А теперь — к авторам.

Юлия Ефременкова. Трип эмигрантки Маши по невероятному живому и узнаваемому — да, он такой и есть! — Берлину, прежде всего, просто очень хорошо написан. В этом, пожалуй, и главный секрет рассказа. Юлия крепко берёт читателя за руку и быстрым шагом проводит по немудрёной истории так, что каждый поворот застаёт врасплох, выводит из зоны комфорта. В нужных местах — когда она этого пожелает — автор делает остановки, чтобы читатель не пропустил удачный кадр. Попробуйте выкинуть из головы образ стоящей на коленях героини или лохматого человека, поющего на мосту Высоцкого в сторону восходящего солнца — не получится.

У Юлии есть свой язык, свой герой, достаточно самоиронии плюс врождённый драматургический инстинкт. Мне она кажется одним из самых многообещающих берлинских авторов.

Проза Динары Расулевой физиологична в высшем смысле. Её мир — это реальность, где физическое тело героев и внешний мир взаимно перетекают друг в друга. Мир без кожи, мир как студень. Из тела мёртвого бомжа Иосифа растут грибы,

плесень поднимается по ногам, чёрная дыра как леденец хранится под языком. Тело совершает экспансию во внешний мир — героями-протуберанцами. Любимый образ — мох, заполняющий любое пространство, не признающий границ.

Эта проза психоделична в значении отсутствия границы между сознанием и подсознанием (любимое Расулевой метро в символике сна соответствует спуску в подсознание), но не оторвана от реальности. Как раз для Берлина с лопнувшей два десятилетия (но сохраняющейся и поныне) назад границей между Востоком и Западом проза Динары невероятно органична. Неудивительно, что в одном из её рассказов есть образ берлинской стены, поставленной вертикально, пронзающей тело города.

Елена Лавин кажется мне слишком внутренне здоровым и цельным человеком для нервной, надрывной писательской работы, но «Шары и клоуны» — безусловная удача и, вне сомнения, хорошая литература. Прежде всего, это очень смешной текст, но смех тут горький и скорее выполняет функцию маскировочной сетки, нежели развлекает читателя. Редко где эмигрантская бесприютность, оторванность от быта и — в широком смысле — от Земли явлена с такой пронзительностью. За метафору шариков лично я Елене очень благодарен и уверен, что она всех нас ещё удивит. **Ю**

Юлия Ефременкова

Фрукт

Проснувшись, я никак не могла разобрать, где нахожусь. Надо мной расстилается потолочное небо, сама лежу в гамаке. Пальм и океана, к сожалению, не было, голова превратилась в кирпич, а со стен на меня с подозрением взирали портреты не слишком красивой женщины. Вставать было страшно: тело затекло, а гамак слегка раскачивался в такт похмельному головокружению.

— Маша! Ты спишь? К тебе можно? — ой, это явно было обращено ко мне, но ответить никак не получалось, горло пересохло.

— Маш, ну я захожу! Кто не оделся — я не виноват.

Дверь открылась, и в комнате показалась угрожающе большая фигура лохматого человека в ярко-салатовом халате. Ну вот, приехали. Это что ещё за фрукт? Я не успела даже моргнуть, как фрукт склонил небритую физиономию и дыхнул на меня тошнотворным перегаром.

— Кофейку бы, да?

Двенадцать часов дня, я охлаждаю лоб пивом, два бородастых нетрезвых мужика в разноцветных халатах курят молча траву, растрёпанная рыжая ирландка жарит нам, русским, блины, за окном, кажется, Пренцлауэрберг, айфон я ранним утром утопила в Шпрее, ни одного немецкого номера я так до сих пор за два года и не выучила. Муж мой, наверное, аккуратно, с той же педантичностью, с какой он раскладывает свои документы по папкам, сложил мои вещи в чемодан и забронировал один билет до Москвы.

— Маш, у тебя бабки есть?

Лёша, Лёша... Как же плохо и неправильно воспитали меня родители. «Если в силах помочь просящему — не отказывай!» Дня три назад этот самый Лёша-бородач написал в

фейсбуке, и не в личном сообщении, а у меня на стене: «Путешествую автостопом по Европе, конечная цель — Португалия. Было бы круто, если бы ты подсказала, где можно в Берлине ночки три перекантоваться. Буду примерно 15-го мая». А у меня с этим Лёшей двадцать друзей общих и лайков на этот пост около сорока. Нравится им! Комментирую: «Что-нибудь придумаем», и в личку адрес свой скинула. Дура? Нет, это всё моё юношеское уважение к хиппарству покоя не даёт: как же? Сама такая была: отчаянная, спонтанная, без денег, а как «Достучаться до небес» посмотрела, так вечно к морю шла.

— Лёш, кажется, денег нет.

— А научи на немецком милостыню просить.

За два года жизни в Берлине разные знакомые напрашиваются ко мне в гости почти каждый месяц, и всё время не те, кого я жду. Муж сначала радовался и звал всех к нам: квартира большая — места хватит, мне не скучно, люди такие интересные, душевные. Он, немец, первый год играл в гостеприимство: пополнял бар крепким алкоголем, холодильник — красной икрой, танцевал под «Ленинград», на плохое и хорошее одинаково научился говорить: «Пиздец». А потом один из наших гостей обчистил нас — украл четыреста евро и две упаковки зубной пасты, этого было достаточно, чтобы муж заявил: «Никаких гостей. Пиздец, Маша, пиздец».

Я рисую для Лёши табличку, ирландка пошла к подруге одалживать собаку для дела, фрукт в салатovém халате притащил специальную одежду для создания убедительного образа попрошайки.

— Маша, а ты, что, со мной не пойдёшь?

Пойду, Лёша, пойду, я же в ответе за тех, кого приручила...

И вот я — в рваных чужих джинсах, вьетнамских шлёпках, с бутылкой немецкого пойла, веду грустную собаку и Лёшу в сторону Александрплатц. С нами фрукт. Мы — бомжи. Мы проходим мимо моего дома, я думаю о муже, который, наверное, воображает, что я кого-то встретила, влюбилась, переспала и обедаю сейчас в ресторане. Разве он поверит, что я помогаю другу моих друзей воплотить мечту дойти до Лиссабона и для этого напилась, накурилась и переделалась в лохмотья? Где логика, Маш?

Фрукт пошел договариваться с местными бродягами и властью — он человек, видно, грамотный и бывалый.

— Так, ребят, я выбил вам элитное место на три часа. Вот — у *DM*¹.

Я — Маша, мне тридцать пять лет, стою на коленях в центре Берлина, на мне табличка: «Помогите! Не хватает денег на билет до России».

Фрукт прогнал Лёшу, так как оказалось, что одной мне подадут чаще и больше. Я стараюсь смотреть в пустоту и не встречаться взглядом с людьми. Кажется, я не вполне отдаю себе отчёт в том, что происходит, и не испытываю смущения или, тем более, стыда. Когда-то я занималась йогой, и учитель требовал, чтобы мы отключались от окружающего мира и всматривались только в себя. Сейчас всё размыто, как у импрессионистов или близоруких, и в Берлине, и во мне. Вчера я подавала милостыню — сегодня подадут мне. Вчера я купила джинсы Хьюго Босс, а сегодня одолжила у незнакомой девки рваные штаны из *C&A*. Вчера я завтракала в *KaDeWe* с красивым мужем в костюме, у которого своя адвокатская фирма, а сегодня делю сосиску с облезлым псом.

— Сорок евро! Ну ни фиги себе! Маша, я меняю Кейт на тебя!

Интересно, а мужу понравится рыжая ирландка?

За три часа простого сидения с собакой на Александр-платц я заработала девяносто евро. Сорок отдала фрукту, сорок Лёше и десять оставила себе на чай.

Фрукт повел нас на ужин: его подруга занимается фудшерингом², по вечерам раздаёт еду на Розенталерплатц.

— Привет, народ! У меня для вас подарочки! — хрупкая коротко стриженная девушка поставила перед нами три больших пакета. — Так, здесь биопродукты, в этом пакете пиццы, круассаны, булочки, а в том молочко.

— Это что, бесплатно?! — на лице Лёши изобразилось

¹ Популярная сеть магазинов галантерейных товаров в Германии

² От английского *foodsharing* (разделение еды), популярное движение, в основе которого — бесплатная раздача продуктов питания, вовремя не проданных в магазинах и кафе

такое искреннее восхищение, как будто он узнал, что Дед Мороз всё же существует. Сначала я таскалась с ним полночи по Берлину, пытаясь пристроить к кому-нибудь из знакомых, параллельно показывая достопримечательности и любуясь своей поверхностной эрудицией. Знакомые мои от Лёши отказывались, но щедро угощали алкоголем. Рассвет мы встретили на Варшавском мосту. Застыли, ошарашенные киношным кадром: лохматый здоровый чувак в тельняшке оготело, фальшиво, во всю глотку в сторону восходящего солнца пел Высоцкого: «Я поля влюблённым постелю...» Нет, я не в Берлине, я на Ай-Петри, где «свежий ветер избранных пьянил, с ног сбивал, из мёртвых воскрешал» и «много будет странствий и скитаний». Маши, ты любишь? Маша, ты живёшь? «Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить».

Ах, пошло это всё: интеграция, чинные прогулки в парке, воскресные бранчи вместо шапльков на берегу реки, разбор бюрократических писем, подсчёт налогов, ежедневная загрузка посудомойки, сушка белья, борьба с пылью...

— Спасите наши души! — ору я в Шпрее.

— Мы бредим от удушья! — отвечает фрукт в тельняшке.

Я — Маша, завтра мне тридцать шесть, и я просто иду, всматриваясь не в себя, а в дорогу. **Ю**

Динара Расулева

Закатный четверг

Википедия утверждает, что белые дыры — это противоположность чёрной дыры, то есть если из чёрной дыры ничто не может выбраться, то в белую дыру ничто не может попасть.

Каждое утро я выезжаю в свежий новый мир в поисках белых дыр. Не то чтобы у меня была нашивка экспедиции по исследованию этих самых дыр или специальный флажок, чтобы в неё, найденную, потом воткнуть, но я всегда ищу их боковым взглядом, между прочим и на всякий случай. Чаще всего я иду к врачу или в школу и попутно остаюсь начеку, чтобы не упустить ни одной из них.

Я выбегаю из махрового красно-коврового подъезда: тут у меня внутренний двор на пути — освободить велик из объятий мотоциклетного замка и ржавого кривого забора, выехать навстречу пешеходам, мешаться им, объезжая, пугать и не улыбаться, чтобы не спугнуть суровую сосредоточенность сердца — примерно в таком порядке всё и происходит. Я вытягиваю вбок левую, а иногда даже правую руку — мне кажется, что белые дыры сложно разглядеть, но легко случайно задеть и зацепить.

Очевидно, что я не замечу, если даже и зацеплю кончиками пальцев одну из них, вполне вероятно, что я уже давно ношу клочок приставших к рукаву или запутавшихся в фалангах белых дыр. Проблема их в том, что люди относятся к этим малышкам так же, как к смыслу жизни — все знают, что туда невозможно попасть, но все упрямо продолжают их искать.

Я оставляю велик томиться прикованным к железной периле, спускаюсь в метро. С первых ступеней меня обдаёт влажной прохладой, здесь тоже махрово, но не от ковра, а от тёмно-серебряного сердито поглядывающего мха. Жужжание и звон пустых бутылок и пластиковых стаканчиков из-под кофе,

которыми обмениваются и потрясывают дети метро, обволакивают и засасывают меня сразу в последний вагон уходящего поезда. Я пытаюсь просить мелочь *чу ессен унд чу тринкен*¹, но мне никто не верит, хотя у меня такие же грязные найки, как у любого бомжа. По всей видимости, меня сдают розовые динозавровые носки. Пассажиры отворачиваются к окну, в котором показывают мелькание чёрного тоннеля, смущённо покусывают облезлые ногти. Вот кто-то что-то достаёт из пыльного рюкзака — ах, это всего лишь недоеденный сэндвич из розового лосося без следа и малюсенькой белой дыры. Мне приходится с благодарностью принять подношение, но, во избежание дальнейшей неловкости, я пакую своих динозавров и на ходу выпрыгиваю в тёплую темноту тоннеля.

Под языком я бережно сохранил одну из оставшихся у меня в жестяной коробочке «Холодок» чёрных дыр — в этом основной секрет поисков, эта малышка должна нейтрализовать невозможность попадания в белую, позволяя мне её случайно зацепить. Я бережно перекаत्याю её языком за правую щёку.

Кожа на пальцах начинает морщиться от влаги, тогда как в поезде сухое дыхание вагона запекло глаза мутной плёнкой. Тут она отвалилась, как кокон, и глаза снова заволокло слизистой. Мох успел забраться по носкам на обтёртые края джинс, и внезапно я понимаю, что где-то это уже было, дежавю, как говорят они.

У берлинского метро нет своего запаха, жужжание его детей — единственный признак, по которому можно идентифицировать его в памяти. Поэтому в обонятельном отсеке мозга в полочке с надписью «берлинское метро» у меня пусто: оно не пахнет.

Зайди в любое другое метро и сразу окажешься охваченным этим потрясающим и завораживающим запахом креозота; очевидно, что в Берлине вывели свой особый сорт креозота с запахом «свежего воздуха», и я, естественно, этим жутко доволен.

— Это Вася, — заговорщицки говорит мне трубка, которую я даже не помню, как поднёс к ушам.

¹ На еду и питьё (неправ. нем.)

Я не знаю никакого Васи, но пытаюсь сделать как можно более усталый и безразличный голос, потому что белая дыра может маскироваться очень искусно, и я не могу себе позволить случайно спугнуть её своими грубыми интонациями.

— Слушаю.

— Это Вася Васин, мы вместе учились, помнишь?

Я никакого Васи не помню, но на всякий случай покорно киваю. Вася торжественно объявляет, что он в Берлине, а раз уж я тоже тут, то почему бы мне не показать ему какие-нибудь совершенно особенные потрясающие, ну такие, никому не известные и крутые места. По ключевым словам я пытаюсь высчитать содержание в Васе пустоты. Я слышу в трубке, как он облизывает свои губы, и без того мягкие и жирные, будто смазанные сливочным маслом, а солнце испуганно отскакивает от его чёрных бесцветных очков. «Мы сегодня свободны», — говорит он. Иди нахуй, Вася, говорю я, но потом почему-то оказывается, что я послушно вежливо назначаю встречу через полчаса на Алексе.

«Мь» — это девушка Васи, у неё такие же пугающие чёрные очки и серое пальто без рукавов. У Васи и его девушки стаганчики из-под кофе, но они не звенят, как у нищих, это значит, что они и правда пьют кофе — сразу видно, туристы. Я незаметно обнюхиваю обоих на наличие белых дыр, а затем мы смело и беззаботно идём в место, совершенно особенно потрясающее и никому не известное.

— Куда мы идём? — пытается взять ситуацию в свои руки Вася на втором часу пути, но в нём не хватает пустоты даже для того, чтобы заметить, что мы сворачиваем под мост, которого не существует.

— Пусть покажет нам что-то необычное, — канючит девушка, серое пальто сползает почему-то к локтям.

Мы выходим к водоёму, обнесённому пушистыми полураспотрошёнными камышами. Здесь я выращиваю лофофору Уильямса и немного псилоцибе, и я наивно уверен, что Васе и его девушке покажется достаточно необычной и особенной моя плантация.

— Что это? — Васиные губы почему-то высохли и как-то вдруг потрескались, я догадываюсь по его глазам, что ему не

понравился мой Иосиф, но пытаться объяснить, что это всего лишь один из берлинских бомжей, и ему в принципе неважно, чем заниматься — разлагаться морально под мостом или разлагаться на пользу моих грибов, которые особенно охотно прорастают из тухнущих человеческих органов, — кажется бесполезным, потому что Васю уже тошнит прямо в кофейный стаканчик. И это ожидаемо — если в повествовании появляется кофейный стаканчик, значит кого-то рано или поздно в него тошнит.

Из человеческого страха можно многое почерпнуть. Из википедии можно, в свою очередь, почерпнуть, что когнитивно сконструированными причинами возникновения страха являются в том числе чувство одиночества, отверженности и ощущение собственной неадекватности. Я сразу заметил, что Васю беспокоит не очень изящно разрывающее его глубоко изнутри одиночество; и теперь я понял наконец, почему девушка двигалась так неестественно и иногда заваливалась набок, а также почему у неё не было имени.

Когда дело дошло до знакомства с Иосифом, Вася растерял все остатки своей пустоты, я ловко собрал их в свою подщёчную чёрную дыру и предложил ему закурить.

Мы стоим на берегу водоёма, окрашенного в густой святившийся красный. Закаты в Берлине — самое красивое и невыносимое из того, что мне приходилось наблюдать.

— Вот сейчас действительно потрясающе и круто, — изумлённо шепчет Вася.

— А ты знаешь, что сегодня четверг? — говорю я кому-то в тишину леса. Белая дыра отвечает упрямым молчанием, хищно улыбается и безмолвно кормит пустыми обещаниями осмысленного существования и осознанной смерти. Я, разумеется, не веду, и, отстёгивая свой велик, думаю только о том, как бы не опоздать на термин² к дерматологу.

В следующий раз я до неё доберусь.

I'm on a roll, I'm on a roll

This time, I feel my luck could change

Kill me Sarah, kill me again with love

*It's gonna be a glorious day*³. **¶**

² Приём (германизм)

³ Цитата из песни *Lyric* группы *Radiohead*

Елена Лавин

Шары и клоуны

— *Lass mich los! Lass mich in Ruhe!*¹ — Худенький востроносый паренёк пытался выскользнуть из лап двадцатикилограммовой массы.

— *D-du hast v-versprochen... Du hast gesagt...*² — рычала масса с сильным русским акцентом.

Автобус качнулся и распахнул двери. Я вышла на остановку и асинхронно помахала двумя руками, пытаясь поздороваться сразу с обоими.

— П-приехала!

— Егор. Ты чего в немца вцепился?

Худой парень рванул в мою сторону.

— Скажи, чтоб он меня отпустил! — крикнул он пронзительно по-немецки.

— С-скажи, пусть ждёт. Он м-мне слово дал!

Егор спружинил следом. Теперь мы топтались втроём.

— Егор... меня ты зачем звал? — я отступила на несколько шагов, пытаясь вернуть себе личное пространство.

Мы познакомились полгода назад, когда только приехали в Берлин. Моими соседями по квартире были человек с золотыми зубами из республики Коми и богемная московская журналистка. Наш плохой язык требовал ежедневных подвигов невербальной коммуникации. Дом обрастал друзьями, словно вирусная реклама, такими же нелепыми и непутёвыми, как и мы сами.

Когда-то там появился и Егор. Его большая круглая голова была обрита наголо. Серые глаза смотрели в упор, не мигая. На кухне он спросил меня, откуда я.

— Из Сибири.

¹ Пусти меня! Оставь меня в покое! (нем.)

² Ты обещала... ты сказала... (нем.)

Неожиданно его лицо стало зловеще сосредоточенным. Несколько секунд он буравил мне переносицу выпуклыми глазами.

— Да-да-далеко, — выдал он наконец.

Егор оказался близоруким занкой с парой курсов радиотехнического вуза за спиной. Через полгода мы разъехались по квартирам, но с ним иногда пересекалась. Он рассказывал, что ему нравятся пышные женщины, греческая кухня, что он скачивает тонны порнухи и смотрит их вечерами со своей женой.

Две недели назад он неожиданно позвонил.

— Кать, ты м-можешь найти в Берлине продавцов воздушных шариков?

— ???

— М-мне н-на праздник нужны гелиевые шары.

Я нашла сайт под названием «Шары и клоуны».

Через неделю он снова высветился на телефоне.

— К-клоун стоит, как К-Киркоров, — помолчав, пожаловался он. — А... может, ты будешь клоуном?

— Определённо нет!

Он пропал ещё на неделю, а потом позвонил снова.

— Если клоуном или, например, стряпать печеньки, то я решительно пас!

— Не клоуном! Не печеньки! П-п-п-пожалуйста, приезжай сейчас. У меня к-край!

Пока ехала в автобусе, страшно ругала себя за бесхребетность.

— Она всё объяснит, — сказал Егор на ломаном немецком, выпуская парня.

Худой парень не убежал, а просто передвинулся ко мне, как к союзнику — поближе.

— Всё из-за этой суки грёбаной, — начал Егор, нервно закуривая.

— Сука грёбаная — это кто?

— Ж-жена моя. Ушла три недели назад. Телефон в-выключила. Вечер жду. Ночь... М-мы и не ругались даже... Через день пошёл в полицию, там говорят, рано п-пришёл. Человек п-пропал, а я вот рано пришёл! — Он окутал нас дешёвым дымом. — Еду назад на велике и вижу её во-о-он там. — Он указал

куда-то в глубину улицы. — На балконе! У тёщи! Что ж я раньше-то не понял? Куда мы без тёщи? Вот, кто воду мутит! Тёщ-щ-а... — он всё-таки удержался на краю бездны под названием «тёща» и продолжил. — Н-неделю я ходил злой. Потом заскучал. Ну, ушла, так ушла, лишь бы вернулась. К-короче, есть план.

Пока он рассказывал, парень пытался оценить нас бегущим взглядом.

Я перевела.

— Этого человека покинула его любимая жена. Теперь она живёт вон в том доме. Её необходимо вернуть.

Парень почему-то обрадовался и закивал головой.

Егор продолжил.

— К ней так просто не подъедешь, — гордая. На к-контакт не идет, т-телефон выключен. Говорить она со мной в-всё-равно не будет. Надо брать хитростью. — Он ухмыльнулся, и мне показалось, что он делает это не в первый раз. — Т-там нас ждёт машина с шарами. — Он указал на дом тёщи. — Немец поднимет их на балкон за ниточку. — Егор широко улыбнулся помощнику. — Если, конечно, не удерёт. Получается вроде подарка от п-поклонника.

— А я там зачем?

— Ты будешь в кустах сидеть и снимать её на камеру, — Егор молитвенно сложил руки лодочкой. — Я д-должен видеть её лицо.

По крайней мере, не клоуном.

— Она у меня ш-шарики очень любит, — продолжил Егор мечтательно. — Детство у неё бедное было, только их и дарили. Она г-говорит, как шарик видит, так и на душе легко становится, как в детстве. А клоуны здесь дорогие... Поэтому я пошёл искать кого-нибудь вместо клоуна на биржу труда, — закончил он неожиданно. — Там и нашёл его. — Он ещё раз улыбнулся немцу.

Немец потребовал перевести.

— Его жена очень любит надувные шары. Нам необходимо поднять их на балкон.

— Но сначала их надо привязать на верёвку, — продемонстрировал вдруг немец свою практичность.

— Я з-зашёл в зал ожидания на бирже труда и объявил, что плачу тридцать евро за час работы. Не поверишь, все разбежались, один он согласился, а потом передумал. П-просто когда мы вышли, я сказал, что во дворах нас ждёт машина. Он заглянул в мой пакет, увидел верёвку и сказал, что он всё понял: я хочу п-похитить его на органы. П-побежал от меня на остановку, я за ним, д-дальше ты знаешь.

В пакете действительно лежал моток корабельной верёвки.

— Егор, ты в зеркало иногда смотришь? Какой нормальный человек пойдёт с тобой во дворы, да ещё и с веревкой?

— Ну что, идём зарабатывать тридцать евро? — предложил вдруг немец.

Мы пошли.

Во дворе панельной шестизэтажки стоял весёленький микроавтобус. В его кузове ежесекундно рождались всё новые шары. Егор принимал их у открытой двери и крепил на конце корабельной верёвки. Минут через двадцать над нами уже нависал гигантский кокон из шуршащих, скребущихся и стучающихся шаров.

— Как бы он у нас в небо не улетел, — не сдержалась я, глядя на худенького немца.

Егор тоже посмотрел на него оценивающе, подергал за канат, что-то прикинул.

— Удержит...

— А, какой этаж?

— Ч-четвёртый русский.

— По-немецки третий. Ты сказал ему, что нужен именно третий?

Егор кивнул. На всякий случай он продемонстрировал подъём шаров, размотав несколько колец верёвки, подёргал их пару секунд на вытянутой руке, и вновь вытянул вниз.

Немец скептически оглядел огромный кокон, но ещё больше ему не понравилась камера.

— Я всё понял, — сказал он второй раз. — Вы снимете видео для *Youtube*, а я буду тем самым идотом с шариками.

— А-да что ж на тебя смотреть-то, — застонал Егор по-русски, — ну не порно же, в самом деле!

— Снимать будем только балкон, — заверила я немца деловым тоном.

Мы двинулись за угол дома. Егор нёс шары до последнего, а потом торжественно вручил их парню. Затем он указал мне на спутанный колючий куст, откуда предстояло вести съёмку. Вялое раздражение, скребущее по стеклу в автобусе, неожиданно поднялось с новой силой.

— В кусты не лезу! — буркнула я, рванула в центр газона, расположенного напротив балкона, села на траву и направила камеру на тётчины окна. Егор пытался что-то возразить, но у дома уже застучали шары. Немец раскручивал канат, кокон полз вверх. Егор бросился в кусты за угол.

— *Dritte Etage*³! — донеслось из них эхом.

Кокон, и правда, дошёл до третьего русского этажа и остановился. Из-за угла зарычали.

— Ещё на один выше! — просипела я с газона. — Немецкий третий! А так четвёртый!

Но парень не слышал, занятый борьбой с коконом.

Шары шевелились, тёрлись друг о друга и трещали резиновой кожей.

Дверь на четвёртом этаже приоткрылась — на балкон, оглядываясь по сторонам и пытаясь найти источник непонятного звука, вышла статная женщина. Шары продолжали переступиваться этажом ниже. Первое, что она увидела, была камера на газоне, направленная ей в лицо. Женщина замерла. Несколько секунд мы молча разглядывали друг на друга. Мне показалось, что она была немного постарше Егора. В её тёмных выющихся волосах покачивались массивные серебряные серьги. Кажется, Егор говорил, что она работала в аптеке. Да, наверное, как раз так и выглядят красивые русские аптекарши.

Шары всё-таки поползли вверх.

— Это вам, — сказала я по-немецки.

Поколебавшись, она протянула смуглую руку в рюшах шёлкового халата, и сорвала гроздь шаров, как будто это был гигантский виноград. Потом она исчезла за занавеской. Вернувшись, сорвала ещё несколько шаров, забросила их в комнату,

³ Третий этаж (нем.)

а потом закрепила весь оставшийся кокон на перилах. Всё это время она молчала. На её лице менялись тревога, удивление и гордость.

— Мой муж послал вас ко мне? — спросила она наконец. Теперь в её глазах читались сильнейшее любопытство и скрытая ревность.

— Мы храним в тайне имена наших клиентов, — ответила я с газона, стараясь скрыть страшный русский акцент.

Мы пошли. Она смотрела нам вслед.

— Ты забыла включить запись! — простонал Егор.

— По-моему, она вернётся, — сказал немец, забирая тридцать евро. **И**

Александр Лакманн

Новый Колумб, или Несколько слов об одном сумасшедшем

Ницше. До сих пор это имя некоторым внушает большие сомнения, если не сказать — опасения. А для многих служит причудливым источником, откуда бесконечно черпают экзотические афоризмы. С Ницше действительно что-то не так! В Советской России его имя было предано коммунистической анафеме, и моё поколение это помнит; в фашистской Германии — каким-то боком было прикреплено к штандартам национал-социализма. Полная чехарда. Сумбур.

Если бы Ницше дожил до тридцатых годов XX столетия, он бы не понял, о ком идёт речь. Помните, у Достоевского в легенде о Великом инквизиторе мысль, что, вернись Христос к людям, его бы опять распяли? Точно подмечено. А ещё можно словами Тютчева: «Мысль изреченная есть ложь». То есть, кто как хочет, так и трактует: хотим — назовём белое чёрным, хотим — чёрное белым, и к тому же ещё всё перепутаем. Чтоб никто не понял. Так чужим разумом управлять легче. Логично, в самом деле. Логично, однако, и то, что если мы оставим тему личности Ницше как символ-идею чего бы то ни было и обратим внимание на его поэтические труды, то увидим парадоксальную ситуацию (а как может быть иначе, коль разговор о мастере парадоксов?!).

Ницше-философ, автор «Так говорил Заратустра», «По ту сторону добра и зла» и прочих, в России любим и ценим, но его поэзии словно бы чуть-чуть не существует, она вроде как совсем для гурманов поэтического жанра. Мне кажется, в качестве стихотворца Ницше уступает многим немецким авторам. Ему далеко до классической стройности и сентиментальной выверенности Гёте, граничащей порой с простотой, которая хуже воровства. Ему далеко до элегантной лёгкости Гейне, хотя пафосностью речей Ницше даёт тому фору. Музыкальная мастерovitость

Рильке тоже не про него; но вот сила образности их очень роднит. И именно здесь секрет Ницше как поэта. Образность — хлеб поэзии. Рифма, ритм — столовые приборы, не само блюдо. Похоже, Ницше частенько ел руками! Оставаясь наедине с собой, можно и не соблюдать интеллектуальный этикет. Многие нынешние поэты вообще орудуют пинцетами да ланцетами, при этом интеллектуальная вычурность становится мерилем смысла, то есть образность заменяется образованностью. Проблема в том, что их произведения не звучат, они не создают видений, картин. Безусловно, техногенная цивилизация и к слову относится техногенно, даже если она пытается говорить о душе. Но ведь прелесть вербальной культуры как раз в том, что слово должно порождать ассоциации, являть оттенки, вызывать молниеносные предчувствия в недосказанном, но точном. И вот здесь Ницше напрямую бьёт в цель. При некоторой, казалось бы, поэтической неуклюжести, которая порой бросается в глаза. При некоторой шаблонности родных немецких рифм. Но он достигает ярчайшей образности. Он, скорее, художник, нежели поэт. Я бы даже осмелился заметить, что сила образности роднит его с полотнами Николая Рериха, мастера, которого я лично не очень принимаю, но мимо творчества которого пройти невозможно.

Возьмём, к примеру, вот это стихотворение:

Ледник

В полудневный час, когда
Взбирается по склонам лето,
Мальчишка с утомлённым
жарким взором:
Он что-то говорит,
Но мы лишь видим речь его.
Дыхание его озноб больного
Ночной порой.
Ледник, ручей, сосна
Ответствуют ему.

Am Gletscher

Um Mittag, wenn zuerst
der Sommer in's Gebrige steigt,
der Knabe mit den müden, heißen Augen:
da spricht er auch,
doch sehen wir sein Sprechen nur.
Sein Atem quillt, wie eines Kranken Atem
quillt
in Fieber-Nacht.
Es geben Eisgebirg und Tann und Quell

Но мы лишь видим их ответ.
И всё стремительнее вниз
Несётся водопад, рад встрече,
И белою колонной повисает,
От ревности дрожа.
И взгляд темней сосны и
 доверительней,
Как будто бы мигает
И между льдов базальта
Вдруг побьются блики света —
Такие блики видел я: и это
 что-то значит.

Взгляд мертвеца вдруг
Просветлится снова,
Когда в тоске дитя его
Обнимет и поцелует страстно:
В последний раз ещё блеснёт
Огней холодных пламя,
вспыхнув, взор
Мёртвого молвит: «Дитя!
Дитя моё, ты знаешь, я люблю
тебя!»
И с жаром молвит всё вокруг —
ледник,
Ручей, сосна —
Лишь взглядами, но та же речь:
«Тебя мы любим!
Дитя, ты знаешь, все мы любим
тебя!»
И он,
Мальчишка с утомлённым
жарким взором,
Печальный поцелуй им шлёт
И льнёт к ним страстно,
И не уходит;

ihm Antwort auch,
doch sehen wir die Antwort nur,
denn schneller springt vom Fels herab
der Sturzbach wie zum Gruß
und steht, als weiße Säule zitternd,
sehnsüchtig da.
Und dunkler noch und treuer blickt die Tanne,
als sonst sie blickt,
und zwischen Eis und totem Graugestein
bricht plötzlich Leuchten aus —
Solch Leuchten sah ich schon: das deutet mirs.

Auch toten Mannes Auge
wird wohl noch einmal licht,
wenn harmvoll ihn sein Kind
umschlingt und hält und küßt:
Noch einmal quillt da wohl zurück
des Lichtes Flamme, glühend spricht
das tote Auge: «Kind!
ach Kind, du weißt, ich liebe dich!» —
Und glühend redet alles — Eisgebirg
und Bach und Tann —
mit Blicken hier das selbe Wort:
«Wir lieben dich!
ach Kind, du weißt, wir lieben, lieben dich!»
Und er,
der Knabe mit den müden heißen Augen,
und küßt sie harmvoll,
inbrünst'ger stets
und will nicht gehn;

Туманом слово стекает
 С уст его
 Отравленное слово
 «Приветствие моё прощанье,
 И расставанье мой приход,
 Я умираю юным».

er bläst sein Wort wie Schleier nur
 von seinem Mund,
 sein schlimmes Wort:
 «Mein Gruß ist Abschied,
 mein Kommen Gehen,
 ich sterbe jung»

Вокруг всё внемлет,
 Сдержав дыханье.
 Не слышно птиц.
 Как будто бы ледник
 Вот-вот сорвётся,
 Дрожанье по горам идёт.
 Мир стих,
 Молчание кругом.
 То было в полдень.
 В полдневный час, когда
 Взбирается по склонам лето,
 Мальчишка с утомлённым
 жарким взором.

Da horcht es rings
 Und athmet kaum:
 kein Vogel singt.
 Da überläuft
 es schaudernd, wie
 ein Glitzern, das Gebirg.
 Da denkt es rings —
 Und schweigt —
 Um Mittag wars,
 um Mittag, wenn zuerst
 der Sommer ins Gebirge steigt,
 der knabe mit den müden heißen
 Augen.

При первом прочтении не понимаешь, о чём речь. А потом — озарение: это летний день! Изящный отрок, которому отведено так мало времени жизни. Ницше вкладывает в этот образ всю свою тоску о конечности бытия. Он мифотворит образ. У него обладают даром речи и ледник, и деревья, и ручей.

А вот сатирическое произведение, своей грубоватостью отсылающее нас к стилю повествования средневековья и ренессанса:

Древо осенью

Чего меня трясти, тупое племя,
 Когда мне хорошо и в тишине:
 Что за чудовищное наступило
 время
 — Всё, вдребезги мой сон по
 вашей вине!

Baum im Herbst

Was habt ihr plumpen Tölpel mich gerüttelt
 Als ich in seliger Blindheit stand:
 Da hat ein Schreck grausam mich geschüttelt,
 — Mein Traum, mein goldner Traum
 entschwand!

В чём смысл, слоны, ствола	Nashörner ihr mit Elephanten-Rüsseln
боданья,	Macht man nicht höflich erst: Klop!f!
Нельзя ль повежливей: Бам! Бам?	Klop!f?
Так получите же ключом	Vor Schrecken warf ich euch die
познания	Schüsseln
Налитого по головам!	Goldreifer Früchte — an den Kopf.

Заметьте, опять мифотворит: дерево не просто говорит, оно кричит. А вот здесь прекрасная роза предупреждает человека о своих шипах:

Роз букетик милых

Хочешь счастьем быть
счастливым,
Будешь счастьем ты счастливый.
Хочешь роз букетик милых?

Так сорви их, если можешь.
Каждый шип, что острый ножик,
Неприменно ранит кожу!

Моё счастье столь обманно,
Столь хитро, непостоянно!
Хочешь роз букетик милых?

Meine Rosen

Ja! Mein Glück — es will beglücken —,
Alles Glück will ja beglücken!
Wollt ihr meine Rosen pflücken?

Müßt euch bücken und verstecken
Zwischen Fels und Dornenhecken,
Oft die Fingerchen euch lecken!

Denn mein Glück — es liebt das
Necken!
Denn mein Glück — es liebt die
Tücken! —
Wollt ihr meine Rosen pflücken?

Смысл тут не в «не прикасайся ко мне!», а в «будь достойным меня, чтобы прикоснуться». «Будь моей крови, со мной наравне». По всей видимости, Ницше таковых в своём окружении не видел. Или не хотел видеть. Но это уже тема отдельного разговора.

А вот элегантная миниатюра:

Венеция

Я на мосту стоял,
окутан карей ночью.
Мелодия лилась:
над дышащей рекою вдаль
из капли золотой.
И музыка, гондолы, фонари —
Всё опьянено в сумерки текло.

Душа моя, звучащая струна,
Всё пела, тронута неясным,
таинственно в песнь гондольера
вплетена,
пред радостью цветною трепеща. —
Но кто-нибудь слышал ли её?...

Venedig

An der Brücke stand
Jüngst ich in brauner Nacht.
Fernher kam Gesang:
Goldener Tropfen quoll's
Über die zitternde Fläche weg.
Gondeln, Lichter, Musik —
Trunken schwamm's in die
Dämmerung hinaus ...

Meine Seele, ein Saitenspiel,
Sang sich, unsichtbar berührt,
Heimlich ein Gondellied dazu,
Zitternd vor bunter Seligkeit.
— Hörte jemand ihr zu? ...

Тема миниатюры — одиночество. Поэт говорит о Венеции — карнавальном, масочном городе. В этом месте постоянного веселья и притворства ему нет места. Его взгляд скользит за отблеском заходящего солнца. Всё отдалено, всё на расстоянии, напоминая картины Брейгеля. Там человеческие игры и Вселенная. Там люди и Солнце. И где-то посередине он — поэт, мыслитель, бунтарь.

О бунтарстве, пожалуй, следующее размышление:

Все ценности не перевернуть ли?¹

Все ценности не перевернуть ли?
И то, что хорошо, не то, что плохо?
И Бог не выдумка ль
и беззаботный опыт дьявольских уловок?
Быть может, всё, в конце концов, не верно?
И коль нас обманули,
тем самым не обманщики ли мы?
И разве не должны мы лгать?

¹ По техническим причинам привести оригинал не удалось (прим. ред.)

Против чего бунтовал? Против косной человеческой привычки больше верить, нежели проверять, ходить проторёнными путями, не смотреть на звёзды — вдруг туда лететь придётся?! Ницше говорит о том, что мораль — тоже вещь живая, а не палеонтологический свиток переживших себя догматов. И слабый становится сильным, и сильный превращается в слабого. Да и весь XX век демонстрирует нам бесконечную мобильность ценностей; «что такое хорошо и что такое плохо» постоянно меняются местами. А уж XXI столетие и вовсе задаёт крайний градус этой мобильности.

У человека, который понимает, что всё в человеческом мире относительно и даже зыбко, на мой взгляд, два пути. Первый, самый простой: опуститься на дно пессимизма, возможно, даже дойти до самой глубины мизантропии. Чужд ли пессимизму был Ницше? Отнюдь нет. Вот, пожалуйста:

Альбатрос

О, чудо! И он всё летит?
Всё ввысь, опять и снова?
Что гонит его прочь, что он
спешит?

Что цель ему, что путь и что
оковы?

И вот он в пропасти небес
Царит, никем не побеждённый.
И что ему за интерес
До королей, землёй рождённых?

Средь звёзд и вечности один,
Парит он в вышине, вдали от
жизни,
Прощая зависти низин,
Которым он всегда был лишний.

Ах, альбатрос мой, альбатрос!
Любовь моя в дали небесной!
Твой путь — источник моих слёз.
Я здесь, один, в низине тесной.

Vogel Albatross

O Wunder! Fliegt er noch?
Er steigt empor und seine Flügel ruhn!
Was hebt und trägt ihn doch?
Was ist ihm Ziel und Zug und Zügel nun?

Er flog zu höchst — nun hebt
Der Himmel selbst den siegreich
Fliegenden:
Nun ruht er still und schwebt,
Den Sieg vergessend und den Siegenden.

Gleich Stern und Ewigkeit
Lebt er in Höhn jetzt, die das Leben flieht,
Mitleidig selbst dem Neid —
Und hoch flog, wer ihn auch nur schweben
sicht!

O Vogel Albatross!
Zur Höhe treibt's mit ew'gem Triebe mich!
Ich dachte dein: da floss
Mir Thrän' um Thräne — ja, ich liebe dich!

Второй путь: театрализация, если не собственной жизни, то поучение других о том, что жизнь — театр, и так далее. Здесь всё преувеличено, доведено до чрезмерности; одновременно автор играет как минимум целых три роли: наблюдающего (первая), видящего себя таким, каким быть не хочет (вторая) и видящего себя таким, каким быть должен (третья).

Молитва из «Утренней зари»

Ах, так ниспошлите мне безумье,
вы, силы небесные,
безумье, что меня заставит
поверить в себя!

Даруйте бреды и судороги,
внезапные прозрения и мрак,
запугайте стужей и зноём,
чтобы ни один смертный не знал
такого прежде,
воем и снующими призраками,
ну же, заставьте быть, скулить и
пресмыкаться, словно тварь:
так, чтобы я сам обрёл веру в себя!

Gebet aus der »Morgenröte«

Ach, so gebt doch Wahnsinn,
ihr Himmlischen,
Wahnsinn, dass ich endlich
an mich selber glaube!

Gebt Delirien und Zuckungen,
plötzliche Lichter und Finsternisse,
schreckt mich mit Frost und Glut,
wie sie kein Sterblicher noch empfand,
mit Getöse und umgebenden Gestalten,
lasst mich heulen und winseln
und wie ein Tier kriechen:
nur dass ich bei mir selber Glauben
finde!

О чём молитва? Я вижу (роль наблюдающего), что тот, кого я вижу (вторая роль), должен быть таким, каким я его себе представляю (третья роль). Это молитва о свободе. Почти о несбыточном. Потому что не каждому дано (или не каждый умеет) стать самим собой в условиях любого общества. Поэтому и молитва к заре, надежде нового дня нового человека. Свободного человека, то есть такого, каким я хочу быть. К примеру, так:

Ecce homo

Да! Я знаю своё племя,
Ненасытное как пламя,
И себя пожру я сам.
Свет лишь там, где я ступаю,
Тьма в мирах, что покидаю:
Пламень я, чего уж там!

Ecce homo

Ja! Ich weiß, woher ich stamme!
Ungesättigt gleich der Flamme
glühe und verzehr' ich mich.
Licht wird alles, was ich fasse,
Kohle alles, was ich lasse:
Flamme bin ich sicherlich!

Нет ничего крамольного в той мысли, что настоящий художник ищет себя среди задуманных и неизбежных личин всю жизнь. Это нормально. Пабло Пикассо своим искусством подтверждает это абсолютно. Единственно, Пикассо фиксировал человеческий мир таким, каким он его видел. А у Ницше была личная цель преодоления себя. Увидеть себя другим. Он грезил о декорациях, среди которых его герой будет погибать по всем правилам старого театра: трагические ноты в голосе, крупные и красивые жесты, и он обязательно должен погибнуть — в этом кульминация жизни романтического героя.

Новый Колумб

Так сказал Колумб красавице:
«Генуэзцу ты не верь!
Всё в чужих морях скитается,
Знать не знает он потерь!»

Свет чужбин и мне милее!
Генуя на дне морском —
Сердце, вдаль! Рука, сильнее
Правь штурвал — а что же дом?

Ну-ка, всё, держись покрепче!
Дёма смыт волной порог!
От родных морей далече
Ждёт нас славы смертный рок!

Der neue Columbus

Freundin! — sprach Columbus — traue
Keinem Genueser mehr!
Immer starrt er in das Blaue —
Fernstes lockt ihn allzusehr!

Fremdestes ist nun mir teuer!
Genua — das sank, das schwand —
Herz, bleib kalt! Hand, halt' das Steuer!
Vor mir Meer — und Land? — und Land?

Stehen fest wir auf den Füßen!
Nimmer können wir zurück!
Schaun hinaus: von fernher grüssen
Uns Ein Tod, Ein Ruhm, Ein Glück!

У Ницше было только так. Горизонт, за которым исчезает бушующая жизнь. Остальные пребывают в суете и скуке. Что ж, у каждого свой выбор. Или каждому нужен свой психоаналитик, если хотите. Но, мне кажется, тут всё несколько сложнее. Философ, мастер слова и творец, Ницше ставил перед собой вопросы и отвечал на них. Возникал мощный мир интеллекта, куда создатель этого мира приглашал зрителя, предупреждая его о том, что пьеса — сложная, постановка — причудливая, но всё это о человеческой жизни, если не сказать шире: о цивилизации.

О том, к чему она пришла и что делать дальше. Фигура, силой ума и души сопоставимая с личностью Будды, да Винчи, Тесла и Фрейда, — Фридрих Ницше до сих пор вызывает споры. Значит, его театральные горизонты оказались нашими подмостками. На которых до сих пор звучат призывы нового Колумба. К новым открытиям. Самих себя.

Ницше закончил свою жизнь в сумасшедшем доме. Но на этом не закончилась история Ницше. Мне кажется, спустя 115 лет после смерти поэта будет актуальной попытка открыть для себя его заново. Хотя бы для того, чтобы приблизиться к пониманию истинного значения свободы. Возможно, и не имеющей ничего общего с насаждаемой нынче демократией и так называемыми «западными» ценностями, о которых сам Ницше был невысокого мнения. Давайте учиться читать — вчитываться. **Ю**



Светлана Тарханова

Немецкий итинерарий¹ Фёдора Достоевского с точки зрения искусствоведа

*Русские — движущийся этнос с самосознанием
оседлого²*

Татьяна Щепанская, этнограф

Идея написать «немецкий итинерарий», в данном случае — Фёдора Михайловича Достоевского, хотя он не единственный русский писатель, побывавший в Германии, — возникла и давно, и недавно. Будучи историком искусства, я часто просматриваю записки путешественников или писателей. Любое живое впечатление «разгоняет» кровь и даёт энергию для нового броска в неизвестность, учит заострять внимание. Это всегда и до, и после собственного путешествия раздвигает мир восприятия знаменитых мест, проращивает корни в мире витающих вокруг них душ, а мелкие живописные детали наполняют историческое ощущение времени и места. Для нагнетания важности литературных описаний скажу, что большую часть совсем ранних памятников мы знаем и представляем вообще только по описаниям паломников или искателей приключений и сокровищ. В этом ряду более других удивляет Иерусалимский храм — самый влиятельный памятник за всю историю архитектуры, но в реальности от него не осталось практически ничего; всё,

¹ Итинерарий — специальный жанр литературы, в котором паломники или путешественники описывают свои впечатления от путешествия. Наиболее популярны итинерарии были в ранневизантийское время, но развивались и позанее. О русских итинерариях см. Гуминский В.М. Открытие мира, или Путешествия и странники. Москва: Современник, 1987.

² Щепанская Т. Б. Культура дороги в русской мифоритуальной традиции XIX–XX вв. М., 2003. С. 8.

что мы знаем о нём — известно из библейских книг, из записанных слов — из литературы. И этого достаточно, чтобы в каждом новом христианском храме или синагоге жила память об Иерусалимском прототипе, чтобы поколения ученых фантазировали на тему его реконструкции.

Германию в России всего XIX века знали и любили, здесь побывали многие путешественники, особенно после войны 1812 года. Общее увлечение Францией несколько поостыло³. За редким исключением и быт, и нравы, и воспитание немцев, а наряду с этим — ухоженная природа, аккуратная, отточенная культура — вызывали восхищение и едва скрываемую зависть с надеждой на то, что «и в России будет так же». В университетских городах Германии проживало немало русских студентов, сюда отправляли молодёжь и учиться, и воспитываться. Не знать, не читать Шеллинга, Лессинга, Шиллера и Гёте считалось дурным тоном. И. С. Тургенев был влюблён во всё немецкое и считал себя немцем...

С Германией, которая, как ни странно, плотно связана с именем сравнительно оседлого русского писателя Ф. М. Достоевского, — ситуация противоположна. В общей сложности он бывал за границей восемь раз — в промежутке с 1861 по 1879 годы — на лечении («падучей»), просто ради «перемены мест», ради игры в рулетку, ради побега от первой жены (Марии Дмитриевны Констант-Исаевой) с любовницей (Аполлинарией Прокофьевной Суловой), побега от кредиторов со второй женой (Анной Григорьевной Сниткиной) и так далее. Достоевский считается сугубо русским писателем, который как никто другой раскрыл сложнейшую психологическую природу характера и ментальности русского человека. Большую часть жизни он провёл в Петербурге, несколько лет на каторге в Сибири (опускаю иные подробности, и без того общеизвестные): это те наиболее яркие обстоятельства, которые навсегда сформировали его личность. Двойной и двойной интерес «немецкого итинерария» Достоевского заключался в том, чтобы посмотреть на Германию глазами русского писателя и на самого До-

³ Оболенская С. В. Германия глазами русских военных путешественников 1813 г. // Одиссей, 1993.

стоевского через призму Германии. Именно во время своих затяжных путешествий он написал немалую долю произведений («Преступление и наказание», «Идиот», приступил к «Бесам»), хотя такая трудоспособность была обусловлена скорее острой нуждой в финансах, чем вдохновением, но тем не менее.

Он не просто путешествовал, а жил за границей, что не раз подчёркивается в его письмах и записках: «Мы же по необходимости придали характеру нашей поездки вид житья за границей, а не путешествия по Европе⁴». Вспоминает и Анна Григорьевна об особенном ритме их жизни в Германии: «Федя смеялся над тем, что мы так долго здесь сидим, и говорил мне, что когда я приеду в Россию, то мне придётся лгать, говоря о том, где я была, потому что иначе просто стыдно сказать, что была только в Берлине, Дрездене и Бадене, а больше нигде и глаз не показывала⁵». Это создавало специфические условия: с одной стороны, было время всё осмотреть, заняться выбором шляпки и перчаток для Анны Григорьевны наряду с неспешным осмотром Дрезденской галереи, но, с другой стороны, — работа писателя в обычном режиме забирала почти всё время, как в обычной жизни, и было не до новых впечатлений. Однажды, например, Фёдор Михайлович принялся за написание статьи про Белинского и сам проклял эту работу в два заказанных авторских листа. Наверное, это не совсем то дело, которым мечтаешь заняться вдалеке от дома и от круга почитателей Белинского.

Архитектурные памятники, которые Фёдор Михайлович видел, по большей части хорошо сохранились, подробно описаны, прекрасно известны. Привлекают по сей день толпы туристов. Что же из всего этого великолепия видел Достоевский? Как он воспринял эту великую страну, совершенно непохожую и в чём-то — очень похожую на Россию? Среди «пунктов назначения» звучат самые громкие названия: Берлин, Дрезден, Кёльн, Гомбург, Баден-Баден, Франкфурт, Лейпциг и так да-

⁴ Достоевский Ф. М. Собрание сочинений в 15 томах. / Письма. 1834—1881. Том. 15. Ленинград: «Наука», Ленинградское отделение, 1988—1996. // 121. С. А. Ивановой. 29 сентября (11 октября) 1867. Женева. С. 328. — <http://rvb.ru/dostoevski/01text/vol15/01text/465.htm> (Далее — Письма...).

⁵ Достоевская А.Г. Дневник 1867 г. Москва: Наука, 1993. С. 169. (Далее — Дневник).

лее⁶, не говоря уже о продолжительных вояжах в соседние страны — Швейцарию, Италию, Францию, Англию. Для любого современного человека — маршруты более чем соблазнительные и завидные. Сейчас, прежде чем отправиться куда-либо, прочтёшь все путеводители, отметишь на карте все достопримечательности и музеи — и именно это и составит каждый твой день на «свободе», который выпьёшь с изыском до дна и только так успокоишь совесть. Достоевский же, вопреки ожиданиям, почти каждое письмо друзьям и приятелям в Россию начинает жалобой на невообразимую скуку («Жить же за границей очень скучно, где бы то ни было...») и заканчивает просьбой выслать ему денег. Ко всему окружающему он очень непроницаем и путешествует где-то внутри самого себя, при этом довольно шустро перемещаясь в пространстве, если проследить общие траектории его маршрутов. Немцы его раздражают на каждом шагу своей глупостью (он вообще постоянно раздражён), покупает и читает он в основном русскую прессу и литературу (хотя знает немецкий, но не любит немецких авторов, даже Гёте, который, несомненно, сильно на него повлиял), улиц и зданий вокруг себя почти не видит. Вот отрывок, разом обо всём этом, который в различных выражениях повторяется из письма в письмо, где бы Фёдор Михайлович ни находился: «Вот уже скоро месяц, как я засел в Женеве; надо сказать, что это самый прескучный город в мире; он строго протестантский, и здесь встречаешь работников, которые никогда не протрезвляются. Право же, не всё золото, что блестит. Немецкая честность, швейцарская верность и т. д. и т. д. — не могу вообразить себе, кто только мог их придумать. Возможно, сами немцы и швейцарцы⁷». Расчётливость немцев отмечалась почти каждым русским путешественником, вошла в фольклор о немцах даже на уровне лубка, но в таком их ещё никто не осмеливался обвинять... Напротив, восхищала воспитанность и достоинство даже и крестьянского населения.

⁶ В настоящее время по дневникам писателя и его второй жены Анны Григорьевны довольно точно восстановлены все маршруты. См. Странствия с Достоевским. — <http://www.md.spb.ru/dostoevsky/publications/stranstvija/?more>

⁷ Письма. 120. С. Д. Яновскому. 28 сентября (10 октября) 1867. Женева. С. 324. — <http://rvb.ru/dostoevski/01text/vol15/01text/464.htm>

Подобная невосприимчивость и отторжение европейской культуры тем более удивительны, что Петербург того времени, родной город писателя, — самый европейский из всех городов России по своей архитектуре и по своему жизненному укладу. Неужели жизнь в струящихся перспективах улиц, среди барочных и классических фасадов домов на набережных, не смогли воспитать в нём восприятия собственно европейских прототипов? Скажем прямо: читать письма Фёдора Михайловича для искусствоведа почти невыносимо. Берёт та же злость, что и на средневековых паломников, которые видели своими глазами тот памятник, который ты судорожно пытаешься реконструировать по сохранившимся и разрозненным фрагментам, угадать ход мысли архитектора и художника, в то время как свидетель ещё не разрушенного здания позволяет себе лишь пару лениво-восторженных слов. Ко всему прочему добавляется постоянная холерическая рефлексия Фёдора Михайловича на любую мелочь или малую ссору, которая совсем не уравнивается, не примиряется эстетическо-художественным вкусом восприятия действительности. Нет также сравнительного разреза, то есть собственно — отчего же раздражение возникает, где лучше? Кажется, что лучше просто в тихом, привычном кабинете с чашкой кофе и свечой на столе.

Исключения, как ни странно, Достоевский делал для итальянской культуры. Известно, что он восхищался Сикстинской Мадонной Рафаэля в Дрезденской галерее и проводил перед ней часы (хотя в описании эмоций более словоохотлива Анна Григорьевна в своих дневниках за 1867 год). Репродукция висела на стене кабинета писателя в Петербурге. Однако от ностальгической депрессии и нытья его не спасло даже это произведение: «...тотчас же мне представился вопрос: для чего я в Дрездене, именно в Дрездене, а не где-нибудь в другом месте, и для чего именно стоило бросать всё в одном месте и приезжать в другое? Ответ-то был ясный (здоровье, от долгов и проч.), но скверно было и то, что я слишком ясно почувствовал, что теперь, где бы ни жить, оказывается всё равно, в Дрездене или где-нибудь, везде на чужой стороне, везде ломоть отрезанный⁸». В

⁸ Письма. 118. А. Н. Майкову. 16 (28) августа 1867. Женева. С. 312. — <http://rvb.ru/dostoevski/01text/vol15/01text/462.htm>

конце одного из писем Н. Н. Страхову (1863 год) он сам удивляется тому, что пишет из Рима, а, собственно говоря, о самом Риме-то и не вспомнил: «Странно: пишу из Рима и ни слова о Риме! Но что бы я мог написать Вам? Боже мой! Да разве это можно описывать в письмах? Приехал третьего дня ночью. Вчера утром осматривал Св<ятого> Петра. Впечатление сильное, Николай Николаич, с холодом по спине. Сегодня осматривал Forum и все его развалины. Затем Колизей! Ну что ж я Вам скажу...^{9 10}» К слову, собор святого Петра далеко не самое прекрасное произведение Рима: сама задача — создать центр всего католического мира — оказалась, видимо, непосильной, и из-за того, что оно возводилось несколько веков с перерывами и переменами разными мастерами, получилось нечто эклектичное и разрозненное, натужное. Так что «холод по спине» был вызван, скорее, авторитетом самого места, чем памятником. Было бы совсем стыдно признаться, что даже в таком месте ничего не почувствовал... Беспрецедентны по накалу чувств высказывания про Венецию: «И почему, почему было не добратся до Венеции? Это непростительно. Потому что Венеция не только очаровывает, она поражает, она пьянит¹¹». Удивительно, что Венеция, с её запутанными улицами и каналами, которые образуют настоящие сети для путешественника, скорее вспоминаются, когда читаешь произведения Достоевского, действия которых происходят в Петербурге. В этом пространственном смысле он скорее «венецианец», чем «петербуржец». Ведь в чёткой антично-классической геометрии Петербурга заблудиться трудно.

После своего первого путешествия за границу (с 19 июня по 5 октября 1862 года) Фёдор Михайлович написал для друзей и по их просьбе «Зимние записки о летних впечатлениях». Начинаются они довольно странно: «Рвался я туда чуть не с моего первого детства». Но оказался уже в сорокалетнем возрасте, то

⁹ Письма. 78. Н. Н. Страхову. 18 (30) сентября 1863. Рим. С. 228. — <http://rvb.ru/dostoevski/01text/vol15/01text/422.htm>

¹⁰ Здесь уместно вспомнить «Рим» Н. В. Гоголя, в котором воплотились совершенно очаровательные впечатления писателя от страны и полного погружения в её жизнь, растворение в ней.

¹¹ Письма. 122. С. Д. Яновскому. 1(13)—2(14) ноября 1867. Женева. С. 331. — <http://rvb.ru/dostoevski/01text/vol15/01text/466.htm>

есть сложившейся личностью, за плечами которой многочисленные литературные успехи, слава, значительная часть жизни. Из «Зимних записок» следует, что в юности он учился и архитектуре. В какой степени — неясно, но должно же это было наложить на него некий отпечаток. Первый город на его пути — Берлин, в котором он, как кажется, ничего не увидел, кроме воздуха, который пахнет так же, как в Петербурге: «Берлин до невероятности похож на Петербург. Те же кордонные улицы, те же запахи... Берлин, например, произвел на меня самое кислое впечатление, и пробыл я в нем всего одни сутки». Заметим, что это был Берлин до 1945 года, ещё весь целый, нетронутый, с развивающимся и уже частично открытым музейным островом нынешнего района *Mitte*, с сохранившимися островками почти аутентичного средневекового города вокруг *Marienkirche* и *Nikolaikirche*¹², с цельной, неразрозненной городской застройкой главных магистралей и так далее.

Наиболее продолжительным оказалось путешествие Достоевского с 26 апреля 1867 по 20 июля 1871 гг. — более четырёх лет. Отъезд был вынужденным (долги умершего брата Михаила и содержание его четырёх детей, неурядицы с семьёй из-за молодой жены, которая была почти ровесницей пасынка от первого брака Михаила), но зато вместе с Анной Сниткиной, которая стала ему не только супругой, но и другом, и помощником на долгие годы. Впечатления от Берлина во время этой поездки (пять лет спустя) мало чем отличались от самых первых, когда он ещё кое-как смог списать свое недовольство на плохое самочувствие. Теперь же более откровенен: «Бросив поскорее скучный Берлин (где я стоял один день, где скучные немцы успели-таки расстроить мои нервы до злости и где я был в русской бане), мы проехали в Дрезден, наняли квартиру и на время основались¹³». Анна Григорьевна в своих записках кажется куда более внимательной и утончённой в отношении к

¹² Церкви святой Марии (самая древняя из действующих церквей Берлина, первое упоминание — 1292 год) и святого Николая (самая древняя церковь Берлина, 1220 год)

¹³ Письма. 118. А. Н. Майкову. 16 (28) августа 1867. Женева. С. 311-312. — <http://rvb.ru/dostoevski/01text/vol15/01text/462.htm>

памятникам, читать её, если говорить откровенно, гораздо приятнее и интереснее, если говорить именно о дорожных впечатлениях. Даже сам Достоевский отмечал, что она оказалась очень любопытствующей путешественницей, везде всё сначала осматривает, а потом записывает в свои тетради. Она остроумна, легка и последовательна, не лишена чувства исторического времени, красоты и юмора, наблюдательна и просто к быту людей и порой даёт очень интересные описания жизни города, например, заметила такую деталь про Берлин: «У берлинцев окна отворены, сидят и смотрят из окон. Под моим окном распустилась липа¹⁴». Берлин она описывает кратко, но видно, что единственный день был насыщен впечатлениями, видимо, потому, что осматривала его она одна, поссорившись с Фёдором Михайловичем с самого утра: «Я рассердилась и сказала, что лучше нам не вместе ходить. Он повернулся и пошел назад, и я отправилась ко дворцу. Долго ходила, видела университет, Schloss, Bauacademie, Zeughaus, Opernhaus, Ludwigskirche. Дошла даже до Brandenburger Thor, которые выстроены по образцу Прописев^{15 16}». Всего этого Фёдор Михайлович не описывал и, возможно, даже не видел...

Совсем уже возмутительны впечатления Достоевского от Кёльнского собора, этого ошеломительного готического гиганта, который, как в шутку говорят немцы, начал строиться с XIII века и строится и по сей день. Конечно, русскому человеку такая стилистика непривычна, хотя в Петербурге можно было и к такому привыкнуть (Чесменская церковь, лютеранский собор святого Михаила). Но мы же имеем дело с просвещённым человеком. Однако его рецепторы напрочь отвергли готику: «Признаюсь, я много ожидал от собора; я с благоговением чертил его ещё в юности, когда учился архитектуре. В обратный проезд мой через Кёльн, то есть месяц спустя, когда, возвращаясь из Парижа, я увидал собор во второй раз, я было хотел «на коленях просить у него прощения» за то, что не постиг в первый раз

¹⁴ Дневник. С. 8.

¹⁵ Орфография по тексту оригинала, включая немецкие названия. Все эти места расположены недалеко или в районе *Unter den Linden*, главной улицы Берлина. Достоевские остановились в гостинице *Union* (ныне не сохранилась) на небольшой улице *Mittelstraße*, которая параллельна *Unter den Linden*.

¹⁶ Дневник. С. 8.

его красоту, точь-в-точь как Карамзин, с такою же целью становившийся на колени перед рейнским водопадом. Но тем не менее в этот первый раз собор мне вовсе не понравился: мне показалось, что это только кружево, кружево и одно только кружево, галантерейная вещица вроде пресс-папье на письменный стол, сажен в семьдесят высоту. «Величественного мало», — решил я...¹⁷ И в довершении впечатлений от Кёльна Фёдор Михайлович восхитился не менее знаменитым, чем собор, местом города, который образует с ним причудливый ансамбль, запоминающийся навсегда. Но восхитился так, что это больше похоже на возмущение: «...обстоятельство, разозлившее меня и сделавшее несправедливым, был новый кёльнский мост. Мост, конечно, превосходный, и город справедливо гордится им, но мне показалось, что уж слишком гордится. Разумеется, я тотчас же на это рассердился¹⁸».

В Баден-Бадене, одном из древнейших городов Германии, где сохранились даже римские остатки бань Каракаллы (город в то время назывался Цивитас-Аурелия-Аквензис), Достоевские также провели немало времени. Известен даже дом (*Gernsbacher Straße 2*), в котором они жили (отмечен памятной доской и барельефом Фёдора Михайловича), а в недавнее время в парке города по проекту скульптора Леонида Баранова был поставлен и памятник писателю. Кроме Достоевских, здесь регулярно бывали Гоголь, Жуковский, Толстой, Тургенев, Чехов, Отто фон Бисмарк, Айседора Дункан, Гельмут Коль и многие другие. Из Баден-Бадена была родом русская императрица Елизавета, жена Александра I (в девичестве принцесса Луиза Августа). Помимо древних бань, которые век за веком превращали город в известный курорт («летнюю столицу Европы»), в городе можно осмотреть два средневековых замка (*Hohenbaden Schloss, Neues Schloss*¹⁹), а также несколько музеев и театр. Про них частично пишет Анна Григорьевна. В Старом замке её более всего поразила рыцарский зал: «Вот, наконец-то, я

¹⁷ Достоевский Ф.М. Зимние заметки о летних впечатлениях. Глава I. — http://az.lib.ru/d/dostoevskij_f_m/text_0040.shtml

¹⁸ Там же.

¹⁹ Замки Хоэнбаден (Старый) и Новый

в рыцарском, в настоящем рыцарском замке, построенном в 10 столетии; прошли уже 8 веков. Я думаю, лет 500 как он необитаем. Замок довольно порядочно ещё сохранился, сложен из дикого камня, но чрезвычайно беспорядочно,— совершенно без соблюдения красоты, а только была бы прочность; это именно им и требовалось». На другой день они прогулялись до Старого замка: «Когда Федя пришел, мы пообедали и решили идти сегодня пить кофе в Alt Schloss²⁰. Мне хотелось идти поскорее, но Федя как-то долго ворочался, так что я боялась, что мы опять придем, когда будет темно, и ничего не увидим». В этот день замок они всё же увидели и даже поднялись на его башню, откуда открывался прекрасный вид на окрестности²¹. Главное же впечатление Достоевского от этого города — Курхаус²², казино... Рассказы Анны Григорьевны о городе, быте и делах примерно наполовину разбавлены подробностями о проигрывах и самообличительными стенаниями Достоевского на экзистенциальные темы. Фёдор Михайлович играл также в казино в Гомбурге и Висбадене: каждый из этих городов, наряду с Баден-Баденом, претендует на то, чтобы быть тем самым абстрактным Рулеттенбургом, который изображен Достоевским в «Игроке» и в котором происходят напряжённые события, но из окружающей фактической обстановки мы видим лишь здание казино, какие-то внутренние помещения, кафе, залы для игры. К слову, само здание казино в Баден-Бадене действительно является произведением архитектуры и интересно с этой точки зрения для осмотра.

Более чувствительным, чем к архитектуре и живописи, Достоевский был к природе: «всё лето прожили в Германии, по разным местам, выбирая покрасившее местность и получше воздух²³». Правда, ни слова, например, о реках Шпрее (Анна Григорьевна её хотя бы назвала «гаденькой речонкой», явно пересказывая ворчание мужа), Рейне (Анна Григорьевна его не-

²⁰ Alt — старый (нем.), имеется в виду замок Хоэнбаден

²¹ Дневник. С. 161-163.

²² Курзал, лечебное здание курорта

²³ Письма. 121. С. А. Ивановой. 29 сентября (11 октября) 1867. Женева. С. 328.
— <http://rvb.ru/dostoevski/01text/vol15/01text/465.htm>

сколько раз видит на горизонте из разных мест), что странно для человека, привыкшего к просторам широкой реки Невы. Разве что знаменитое Женевское озеро удостоилось похвалы, но и она была отравлена впечатлением от самого города и от климата (как можно отделить природу от климата, неясно): «Женева на Женевском озере. Озеро удивительно, берега живописны, но сама Женева — верх скук. Это древний протестантский город, а впрочем, пьяниц бездна... Климат отвратительный. С гор дуют порывы ледяного ветра, погода меняется три-четыре раза на дню». Несколько снисходительнее писатель к Италии: «...что до природы, то она меня восхитила только в Неаполе. В Северной Италии, то есть в Ломбардии, природа несравненно прекраснее²⁴».

Не могут все эти прегрешения Фёдора Михайловича против искусства быть оправданны словами Н. Н. Страхова, который сам, похоже, не очень понимал, откуда у Достоевского такая дистанция от красоты, и пытался её как-то объяснить: «... все его внимание было устремлено на людей, и он схватывал только их природу и характеры, да разве общее впечатление уличной жизни²⁵». Достоевский презирал «обыкновенную, казённую манеру осматривать по путеводителю разные знаменитые места». Символичны слова Анны Григорьевны про их скитания в Дрездене: «Потом я совершенно забыла дорогу, и мы долго плутали, отыскивая Брюллеву террасу. Какая-то немка показала нам совершенно обратную сторону. (Вообще, если немца что-нибудь спросить, то он, во-первых, ничего не поймет, а во-вторых, непременно соврет дорогу.) Федя начал выходить из себя, бранил меня за то, что не знаю дорогу, как будто бы я могу это знать. Долго мы ходили, наконец... вышли на террасу²⁶». Да, внимание устремлено на людей, но почему великому русскому писателю было бы не расширить свой кругозор? Едва ли его герои пострадали бы по этой причине. Может быть, он просто не умел ориентироваться по путеводителям, оттого и презирал их?

²⁴ Письма. 122. С. Д. Яновскому. 1(13)—2(14) ноября 1867. Женева. С. 331-333. — <http://rvb.ru/dostoevski/01text/vol15/01text/466.htm>

²⁵ По: Мочульский К. В. Достоевский. Жизнь и творчество. Париж—Москва, 1980. С. 189.

²⁶ Дневник. С. 12

Все эти неоправданные ожидания искусствоведа от писателя отнюдь не умаляют его значимости и влияния в области литературы. Именно эта особенность Фёдора Михайловича — непреодолимая сконцентрированность на самом себе и внутри себя — породила тот его собственный литературный стиль, который филологи обозначают как «фантастический реализм». Оксюморон. Но заглянем в его Петербург — город, который более других был известен Достоевскому. В его произведениях — это лишь нечто, названное «Петербургом»; это город воображаемый, иллюзорный. Такого Петербурга не увидит не один путешественник, потому что его просто нет: это некая метафизическая, пульсирующая, мерцающая субстанция, которая клокочет и зарождается в тёмном хаосе воображения. В романах Достоевского нет ни Исакиевской площади, ни Адмиралтейской иглы, ни Невской стрелы, ни Дворцовой площади с Зимним дворцом, ни сети улиц Васильевского острова, ни суровой Петропавловской крепости — ни одной знаковой достопримечательности, которую бежит смотреть гость города и наизусть знает каждый житель. Самое главное, что мы знаем из романов Достоевского — это дворы-колодцы, замкнутые в высокие, неприступные стены площадки, чем-то напоминающие восточный хан или римский атриум. И маленькие, кислые комнаты под крышами, где ютятся нищие студенты. Даже в поисках такого двора и комнатки мы идём мимо каналов и значимых монументов и не можем их не заметить. А Достоевский их не видит... Как и любой другой город в произведениях Фёдора Михайловича, его Петербург фантастичен, он даже алхимичен: в нём происходит какое-то химическое преобразование душ людей. Писатель создаёт свои миры из своей собственной метафизики, где живут образы его героев и где задаются и решаются совершенно иные вопросы, чем время постройки и стилистика собора или ценность того или иного музейного собрания.

* * *

И всё же... Восстановленные по письмам и дневникам маршруты Ф. М. Достоевского, конечно, не могут быть «путевой звездой» для утончённого ценителя искусств. Но одно воспоминание о его пребывании в Берлине, Дрездене, Баден-Бадене, Лейпциге, Гомбурге, Франкфурте согревают эти города каким-то знакомым теплом. В них звучал его голос, писались его повести и романы, катился шарик рулетки, за которым он следил острым взглядом. В Европе (точнее, в Женеве) в 1868 году умерла во младенческом возрасте и похоронена его дочка Софья. Хотел этого Фёдор Михайлович или нет, но Германия навсегда связана с его именем. **И**

Марк Харитонов

Драма Роберта Музиля¹

1

В романе Роберта Музиля «Человек без свойств» есть замечательные размышления об «эссензме» как своего рода жизненном принципе, способе отношения к жизни. «Примерно так же, как эссе чередую своих разделов берёт предмет со многих сторон, не охватывая его полностью, — ибо предмет, охваченный полностью, теряет вдруг свой объём и убывает в понятие, — примерно так же следовало... подходить к миру и к собственной жизни». Причём эссеистики как таковой среди литературных сочинений Музиля совсем немного — почти всю жизнь он потратил на этот свой единственный, так и не завершённый, мало кем воспринятый поначалу роман. И в самом романе с иронической (на самом деле заметно уязвлённой) усмешкой поминает куда более удачливых, чем он, популярных эссеистов, мемуаристов, авторов так называемых биографий.

Что мешало ему, чёрт побери, самому добиться заслуженного успеха? Ведь умел же, да ещё как! Сам роман читается местами именно как грандиозное эссе. Можно вообще считать его, если угодно, грандиозным эссе, написанным в виде романа. При всём разнообразии лиц, историй, характеров все эти великолепно вылепленные персонажи в одном до неправдоподобия схожи — способностью непринуждённо, экспромтом высказывать суждения, доступные на самом деле одному лишь Музилю. А ему-то они давались пожизненным усилием, были выношены, выверены, отточены — ни слова случайного, приблизительного, пустого, никаких промежуточных междометий, без которых на самом деле редко обходится повседневная речь. Мысли элегантные, ироничные, как бы сами собой выпадают из многолетнего

¹ Настоящее эссе вошло в роман М. Харитонova «Конвейер» (2000)

насыщенного раствора. То есть уже очевидно перенасыщенного — столь концентрированную эссенстику, оказывается, тоже не так просто усвоить. Лучше всего одолевать за раз страниц по шесть-семь, попутно разбавляя эссенцию. Недаром, чтобы оценить Музиля, публике потребовалось время — дожидаться прижизненного признания ему не довелось.

Хотелось бы, однако, понять, что такое для Музиля эссенстика, «берущая» жизнь с разных сторон, но не претендующая на возможность охватить её противоречивую полноту. Подлинно великой эссенстике, пишет он, чужда «именуемая субъективностью безответственность фантазий, но и «верно», «неверно», «умно», «неумно» — понятия тоже неприменимые к таким мыслям, которые, тем не менее, подвластны законам столь же строгим, сколь тонкими и невыразимыми они кажутся». Ничего себе сказано, а? Надо понимать, законы вроде бы есть, но формулировке не поддаются: как, в самом деле, выразить невыразимое? И мы, вроде бы, догадываемся, что он имеет в виду, а попробуй перескажи, растолкуй. Растолковал бы сам автор. Но, похоже, он как раз и работал для того, чтобы добраться до какого-то трудновыразимого понимания. Мне особенно понятен и близок феномен именно такого писателя. Человека, не излагающего заранее ему ясное — пишущего, чтобы что-то прояснить. Может, мы и живем-то, чтобы понять, зачем.

«Многие предпочитают сумасшедшие мысли трудным», — усмехается снова Музиль. Ну, мы и это по себе знаем. Думать всерьёз, говоря между нами — работёнка скорей для слишком уж самоотверженного любителя. Или для сдвинутого профессионала, который в такую работу запрягает себя сам, как Музиль. А ведь умел, глядишь, выдать и лёгкий афоризм — едва ли не на каждой странице встретишь что-нибудь не менее блистательное. Вычленишь и выпустить бы их отдельной книгой — она могла бы, наверно, стать популярной, куда популярней, чем весь трудноподъёмный роман. «Зоология учит, что из суммы неполноценных особей вполне может составить гениальное целое». Право же, хорошо! Сложность в том, что сам автор слишком чувствует недостаточность любого частного утверждения. «Такие фразы пребывали среди его

занятий, — пишет он об Ульрихе, умном герое романа, а в чём-то своём *alter ego*, — как не связанные друг с другом и редко посещаемые острова; но когда он окидывал их взглядом, насколько это позволяло его знание, ему казалось, что между ними есть связь, словно эти острова, на небольшом расстоянии один от другого, лежали недалеко от берега, который скрывался за ними, или представляли собой остатки материка, погибшего в незапамятные времена. Он почувствовал мягкость моря, тумана и низких, чёрных, спящих в жёлто-сером свете холмов».

И на схожую тему в другом месте: «Фраза эта была неотделима от определённого пространства, от комнаты с жёлтыми французскими брошюрами на столе, с портьерами из стекла вместо дверей, и в груди возникало такое чувство, словно запускаешь руку в распаханную тушку, чтобы вытащить сердце».

Вот тут действительно проявляет себя подлинный романист, художник, которому нужен всё-таки ёмкий пластичный образ — он способен вобрать в себя, выразить больше иных рассуждений. И Музиль это умеет, да ещё как! Роман полон картин, звуков, запахов, впечатляющих описаний, психологических сцен, житейских подробностей. И такие подробности для Музиля — не литературная частность, не антураж. Оставаясь одновременно эссеистом, он старается осмыслить их значение и роль — уловив раньше и лучше многих, сколько они определяют в самой жизни, культурной, частной, общественной.

«В кино, в театре, на площадке для танцев, на концерте, в автомобиле, самолёте, — пишет он, — в швейных мастерских и коммерческих конторах непрерывно возникает огромная поверхность, состоящая из впечатлений, выражений, жестов, манер и переживаний... И совершенно неважно, что из этого удержится, а что снова исчезнет, как подумаешь, сколь великие и, вероятно, напрасные усилия понадобились бы, чтобы прийти к таким революциям в быту ответственным путём умственного развития, через философию, художников и поэтов; ведь из этого видно, какой творческой силой наделена поверхность вещей по сравнению с бесплодным упрямством мозга».

«Бесплодное упрямство мозга» — не слышится ли в этих словах ирония автора по отношению к себе самому? Не о

своих ли он мучительных литературных попытках создать «ответственным путём» что-то действительно безусловное, долговечное? «Многие предпочитают сумасшедшие мысли трудным» — о да! А сколько усилий направлено на то, чтобы вообще вытеснить мысли: громом ли электронных инструментов, ритмическими ли движениями — чем угодно, что можно было бы назвать этим нынешним словом «кайф». Какой опыт мог всерьёз рекомендовать другим человек, всю жизнь мучительно ворочавший в мозгу свои сизифовы глыбы?

Знавшие Музиля отзывались о нём по-всякому. Отмечали в нём элегантность, замкнутость, вежливость, суховатость, иногда уничтожительную резкость, отмечали чувствительность к похвале и уязвлённость преобладающим непониманием — много чего. Но в способности к самоиронии он никем, кажется, не был замечен. Похваливший при Музиле Томаса Манна рисковал испортить с ним отношения. Когда так непросто складывается жизнь, литературная судьба, в самом деле не всегда удаётся насмешливо взглянуть на себя со стороны. А вот в романе, где доверяешь героям выношенные свои мысли — и тут же, как положено автору, с добросовестностью объективного исследователя их перепроверяешь, неизбежно осознавая их недостаточность — вот тут-то, подчиняясь тому же бестрепетному писательскому долгу, поневоле усмехаешься, словно перед честным зеркалом, а то и покажешь язык самому себе.

Размышления о «бесплодном упрямстве мозга» и о силах, определяющих реальное развитие, Музиль доверяет на этих страницах человеку, которого он себе довольно откровенно противопоставляет — «сверхлитератору» Арнгейму, человеку, сумевшему во всём добиться успеха. «Осторожно, в виде пробы и с приятным чувством личной застрахованности Арнгейм пытался приспособиться к этому неминуемому, как он считал, ходу событий». В словах о «застрахованности» нетрудно уловить, конечно, уже знакомую нам усмешку — Музиль то и дело вынужден был отмечать, насколько ему самому приспособиться не удаётся. Над успехом он продолжает иронизировать не без блеска. «Существовала предпочтительная дозировка, сулившая в мире наибольший успех, маленькая, в обрез отмеренная добавка

суррогата.» Можно подумать, он сам-то знал точный рецепт, только не хотел воспользоваться — «как того требует чувство социального благополучия».

Знал ведь и об этом требовании — он всё мог понять. (Что не мешало ему быть беспомощным в делах житейских: он словно не умел обращаться с деньгами, предоставлял жене расплачиваться за него в кафе и покупать билеты в трамвае — без неё он ходить не любил.) «Чистейшая банальность всегда человечней, чем новое открытие», — блистательные выписки можно множить. Вот снова на ту же тему: «В ходе времени обыкновенные и неличные мысли сами собой усиливаются, а необыкновенные пропадают, отчего почти каждый становится всё посредственней». Для нас это звучит, пожалуй, даже более современно, чем в пору, когда писался роман. При этом Ульрих, герой романа, отдаёт себе отчёт и в другом: «Нельзя злиться на собственное время без ущерба для себя самого».

Когда читаешь дневники Музиля, его письма или эссе, возникает, право же, впечатление, что сам он порой всё-таки злился. Другое дело роман. У него бывало на душе «совсем так, словно он родился с каким-то талантом, с которым сейчас нечего делать», — это автор пишет о герое романа — но, конечно, и о себе тоже. Как положено творцу, Музиль внимательно и бестрепетно, с высот всё той же иронии продолжал осмысливать своё время в разных его проявлениях — пробиваясь если не к недоступной, может быть, полноте цельного понимания, то к чему-то, что в романе называется «другим состоянием».

Понять бы, к чему он в конечном счете пришел. Это эссеист предложит нам свои размышления и доберется вместе с нами до результата. В романе Музиля мы вовлечены, так сказать, в поле незавершённых художественных поисков, и мыслей нам предложено тут в избытке, только разбираться приходится самим. Наши толкования скорее всего заставили бы самого автора то и дело скептически вскидывать брови. Иначе не может быть. Ведь это становится уже отчасти не просто его — нашим миром.

В романе есть пассаж о людях, уверяющих «с горькой скромностью», будто они «хотят, чтобы о ценности созданного ими судили лишь через три или десять столетий, но все ощу-

щают как ужасную трагедию немецкого народа тот факт, что действительно великие никогда не становятся его живым культурным богатством, потому что они слишком далеко уходят вперёд».

Отрезвляюще действует сейчас сама эта насмешливая, на удивление современная интонация...

2

Почему за столь долгий срок не удалось Музилю довести до конца уже во многом выстроенный роман, даже приблизиться к завершению, которое в основных чертах заранее было намечено и не раз как будто мерещилось?

Писатель, как известно, человек, которому писать особенно трудно. Проблема Музиля была не в так называемых «муках слова» — он исписал за годы работы необозримое множество страниц. Была ли она в том, чтобы на чём-то остановиться, удовлетвориться достигнутым? Если бы сам Музиль мог себе определённо сказать! Выглядит всё именно так: чем дальше он продвигался, тем больше открывалось сложных, разветвлённых, требующих осмысления и разработки возможностей.

«Я хочу одновременно слишком многого, — записал он однажды... — Отсюда возникает нечто судорожное». Затруднения в работе иногда обострялись до такой болезненной степени (представляется что-то, похожее на заикание), что пришлось даже обратиться к врачу. Доктор Лукач попросил изложить, проанализировать письменно, что же пациенту мешает. Музиль добросовестно выполнил предписание. В своём пространном отчёте он, среди прочего, сравнивает себя с человеком, который пытается зашнуровать футбольный мяч размером больше себя самого; пишет о попытках расчленить работу, чтобы справиться с ней по частям; однако возникающие при этом идеи оказываются трудно объединить в целое, это действует парализующе.

Доктор, прочитав отчёт, посоветовал писателю просто переждать несколько дней, расслабиться, как теперь говорят. «Новая мысль позволит что-то перегруппировать. Или наоборот, перегруппировка породит новую мысль. Важное станет вдруг неважным и отпадёт».

Рекомендация дельная. Но ведь то, что предлагал врач, с Музилом как раз и происходило, вот в чём была беда. В марте 1934 года он пишет знакомому, что ему пришлось пересмотреть планы и наброски, сделанные десять лет назад, пожертвовав почти всем, что первоначально должно было составить, собственно, весь роман. И через полгода: «Завершение романа уже обозримо — но путь к нему!»

Так, поднимаясь в гору, уже, бывает, видишь вершину, однако радость оказывается преждевременной: это всего лишь промежуточный выступ, заслонявший вершину другую, только теперь открывшуюся впереди — настоящая ли, однако, и она, окончательная ли? Снизу, от подножья, путь представлялся гораздо более обозримым. А если каждый очередной шаг видоизменяет перспективу, порождает непредвиденные задачи, требует новых решений, поисков? Если каждое найденное решение не прибавляет ясности, а, наоборот, от неё удаляет?..

Нет, продвижение к вершине — пожалуй, тут не самое подходящее сравнение. Скорей возникает чувство, будто человек годами преодолевает разнообразное, необозримое пространство в наивной — при таком-то опыте! — надежде добраться когда-нибудь до места, где земля сходится с небом. Как ещё назвать это стремление соединить несоединимое — не сюжетные линии, не судьбы героев, тут дело, как говорится, техники: неуловимую, неохватную реальность с определённой, словесно выраженной мыслью? Если бы опыт хоть прибавлял с годами уверенности! Какое там!

Выразить надо всегда намного больше, чем позволяют ограниченные способности, возможности самого языка. И ведь в каждой работе выкладываешься предельно, словно она единственная и последняя — как же иначе? Но любое завершение оказывается условным, да и может ли оно быть другим? Музиль словно не хотел примириться с этим.

В первой части романа иронически обсуждается некая «утопия точной жизни», возможность всё делать осознанно, целенаправленно. «Это значило бы... примерно то же, что молчать, когда тебе нечего сказать; делать только необходимое, когда тебе не надо добиваться чего-то особенного...» И тут же, в следующей

главе, можно прочесть о той самой «утопии эссензма», когда продвигаешься не в литературе — в жизни как бы на пробу, нащупывая и осмысливая каждый очередной шаг («который может быть сделан в какую угодно сторону, но, чтобы сохранить равновесие, непременно ведёт к следующему шагу и всегда вперёд»). Во второй части романа герои, брат и сестра, обсуждают возможность действительно полноценного жизнеощущения, они называют его «другим состоянием» (*der andere Zustand*) — понятие так и остаётся не вполне определённым. Да и какая может быть в таких материях определённости? В рабочих набросках Музиля возникают намеки на инцестную связь между братом и сестрой, на некое «путешествие к пределам возможного». Там же говорится о «мистике яви» (*tägliche Mystik*), «о свободе, с какой математика иногда пользуется абсурдом, чтобы придти к истине»...

Музиль, как известно, имел неплохую математическую выучку. Но как он, интересно, предполагал совместить ощущение бесконечно разнообразной, неисчерпаемой, иррациональной жизни с безусловностью математически точного, истинного решения? Это можно бы обсуждать в рамках представлений религиозных, однако от них герои Музиля далеки, и сам он ко всяческим готовым системам относится явно скептически. Ближе к концу романа (впрочем, о конце тут можно говорить совсем уж условно), отчасти в неопубликованных главах, возникает персонаж, проповедующий веру в высшие ценности, покорность заповедям и т. п. «Глаза его сверкали, как два проповедника на возвышении, образованном его длинными ногами».

Ничего не скажешь, Музиль-художник силы своей не утратил, и способность к иронической усмешке до конца ему не изменяла. Сколько попутных идей, эссенстических размышлений, сюжетных линий было оставлено им за пределами текста, в рабочих записях, вычеркнуто из уже готовых глав! Хотя при этом варианты, вызвавшие сомнения, окончательно всё-таки не отбрасывались. Он продолжал их хранить, словно не исключая возможности к чему-то вернуться. Исследователям, которым пришлось разбираться в рукописях после его смерти, это дало, что говорить, великолепный простор для самых разнообразных

версий и построений; каждый мог скомпоновать на свой вкус наиболее убедительное финальное разрешение.

Но самому-то автору — что ему стоило закруглить сюжет романа хоть так, хоть этак? В жизни чего только ни бывает, в романе тем более. Чего было вообще доискиваться, если будущее героев было для него, пишущего, уже хорошо известным прошлым: впереди их всех ждала мировая война, которой суждено было перевернуть судьбы, отменить планы, обесценить великолепные концепции. «Все линии сходятся на войне», — это Музиль определил заранее в одной из рабочих тетрадей.

Господи, да в конце-то концов — разве нам и без того не ясно заранее, чем всё кончится? И к чему бы ты ни пробивался всю жизнь, что бы тебе ни открылось, понимание в конце концов всегда будет недостаточным, давно проверено. Ну и что? Разве мало того, что удалось вписать в написанные страницы?

«Просто смотри, что происходит, перестань честолюбиво помышлять о каком-то совершенно новом теоретическом познании (а ты, значит, был бы его Магометом!)», — словно спохватывается в дневниковых записях Музиль. Увы, рассказчика житейских историй из него просто не могло получиться. Стоило тогда ворочать так долго в перегруженном мозгу те же самые глыбы, изводить себя, не думая о читателе? Неужели непременно требовалось решить что-то всё-таки ещё и в мыслях?

Какие там утопии померещились его героям? История так называемой «параллельной акции», идеологической подготовки к императорскому юбилею, которую так много обсуждают в романе, оказывается всё более безысходным занудством. «Путешествие к пределам возможного» оборачивается в черновых набросках всего лишь поездкой брата и сестры на юг, к тёплому морю. Первоначальный восторг сменяется разочарованием, возникает мысль о самоубийстве. Н-да... всего только...

Самого Музиля, продолжавшего писать, тем временем уже настигла Вторая мировая война, он вынужден был эмигрировать, бедствовал — но даже для заработка отказывался отдавать в печать уже оформленные новые главы романа. Смерть дожидаться долго не захотела.

«Трагедия потерпевшего крушение человека», — записывает он в рабочих тетрадях. Только ли это о судьбе своего

героя — или тут уже предчувствие, что не хватит всё-таки жизни, чтобы соединить несоединимое, дотронуться — не в воображении, а взаправду — до влажного холодного краешка, прикоснуться к мерцающей трепетной звезде?..

Помню, какое впечатление произвела на меня история музиевского романа ещё до того, как мне его довелось прочесть — история бескомпромиссного стремления к совершенству, в самом деле почти запрограммированного поражения. Почудилось в ней что-то понятное, близкое, даже родственное — как близким и родственным может казаться недостижимый, увы, идеал. Музиль как-то высказался в том смысле, что довольствоваться можно лишь гениальным (*nur das Genie sei erträglich*, — передаёт его мнение один исследователь). Слишком лестно было бы, конечно, равнять себя с ним. Дал бы ещё кто гарантию, что гениальность эта подтвердится когда-нибудь, хоть после смерти.

Роман оказался действительно выдающимся — но сопоставимы ли были бесспорные достоинства текста с совсем уже беспримерным, самоотверженным, самогубительным усилием автора? — вот ведь какое стало примешиваться сомнение. Можно ли было в самом деле примерить к себе такой опыт? Чужой опыт вообще не про нас, опыт поражения, признаем честно, тем более. Если из него для себя что-то можно извлечь, то урок скорее остерегающий. Жизнь вынуждает быть не то чтобы поскромней — реалистичней, что ли? О себе можно всякое воображать — но кто станет хотя бы поддерживать наше скромное существование до маловероятных лучших времён, как сделал это кружок добросердечных ценителей Музиля, собиравших для него деньги? Некоторые из них даже знали, что Музиль высказывался о них пренебрежительно (а деньги при этом принимал, да с таким видом, словно им оказывал честь). Увы, среди этих добряков оказались преимущественно евреи, которых фашизм скоро лишил возможности ему помогать.

Нет, дело не просто в масштабе таланта. Человек устроен так по своей природе: он не может не стремиться к концу, к желанному завершению, в работе ли, в любви ли. Невыносимо бывает томление, ожидание, сладостно длящееся осуществление, и хочется продлевать это состояние бесконечно, зная за-

ранее, что всему должен рано или поздно придти конец, что самый счастливый миг, озарение, вспышка тут же неумолимо сделают всё прошлым и окажутся прошлым сами — а впереди новое бессилие, новое ожидание, новая надежда, воспоминание о пережитом. В этом, увы, грусть жизни, но из этого она состоит. Иначе нельзя...

И тогда приходит на ум: может, Музиль, не отдавая себе в том отчёт, просто не хотел завершать счастливую, мучительную работу? В ней осуществлялась, продолжалась, преображалась собственная его жизнь? Что такое приключения его героев, никогда на самом деле не существовавших, как не приключения его собственной души, его мысли? Усилие этой работы позволяло возобновлять себя бесконечно, не повторяясь, не исчерпываясь ни в каком результате. О да, это бывало мучительно, как бывает мучительна жизнь, это, вообще говоря, непосильно. Нам нужно хоть время от времени удовлетворение, отдача, успех, если уж договаривать до конца. Незавершённость невыносима, как поражение. Не зря Музиль обронил те самые слова о трагедии.

За время, отданное работе, в мире столько произошло! Передуманное, пережитое, пережитое ни в какой объём невозможно было вместить. Да разве в объёме дело? Для озарения, вспышки не требуется большого пространства, поэт или музыкант могли бы сказать об этом больше прозаика.

«Найти в этом чередовании явлений опору так же трудно, как вбить гвоздь в струю фонтана», — умел же писатель сказать! «Надо иметь мужество жить среди моральных противоречий». После каждой такой фразы в самом деле можно бы поставить точку и сказать читателю: здесь, друг мой, расстанемся. Сказанное будет разрастаться уже внутри тебя, входить в твою жизнь...

Жалко дочитывать книгу до конца, хочется задерживаться чуть ли не на каждой фразе. «Он был как бы зашит в отвратительную, безглазую, трупную кожу, которая ещё составляет часть человека и уже чужеродна ему. Дорожный мешок жизни». Это Музиль о покойнике, о самом что ни на есть конце. Что нужно было ему ещё искать, к какому завершению устремляться дальше? И увидишь появление горячей воды и человеческой крови. Какого он, в самом деле, доискивался фило-

софского камня? Только писателю и взбредёт в наше время на ум заниматься таким делом. Непосильное, безнадежное устремление. Но без таких попыток нам тоже оказалось бы вовсе уж неуютно, обидно, невыносимо.

Каждый выстраивает вокруг себя реальность, какую может, какую способен выдержать; оправдывать ожидания она не обязана. К какому-то возрасту жизнь всё равно предложит нам довольствоваться чем-то, мало похожим на идеал. Относительным, условным. Житейским, в конце концов. На этом она, если угодно, держится... **И**

Михаил Румер-Зараев

Право на публикацию

Из истории русскоязычной прессы в Германии

В российском МИДе утверждают, что за пределами России находится 30 миллионов соотечественников. Что здесь имеется в виду, сказать трудно — этнические ли русские, бывшие российские граждане, русскоговорящие, те, для кого русский язык родной? Не знаю. В другом источнике вычитал: в США 3,16 миллиона русскоговорящих. В одном Нью-Йорке их полмиллиона.

Как бы там ни было, но расползание России по миру уже давно стало свершившимся фактом.

После семи десятилетий железного занавеса, когда только исторические катаклизмы вроде революции и мировой войны смогли выбросить за пределы советского пространства две эмигрантских волны, наступило время относительно спокойного отъезда всех тех, кто желает и может осуществить своё желание.

Соответственно происходит и расползание российской культуры. Мне как-то попался выходящий в Финляндии русскоязычный литературный журнал. Так вот и в этой небольшой стране имеется «своя» русская литература.

Только в самых экзотических странах мира нет русской общины. Как следствие, создалось некое транснациональное русское культурное пространство, построенное на межконтинентальных связях — личных, творческих, человеческих, пространство, в основе которого лежит одна культура, одна советская цивилизация, один круг эстетических критериев.

Официальные цифры, приведённые в начале нулевых годов на Потсдамской встрече Русско-германского форума, говорят о следующем. Тогда в стране насчитывалось 3,2 миллиона русскоязычных. Из них 2,2 миллиона немцев из бывшего СССР,

193 тысячи еврейских иммигрантов с постсоветского пространства, 532 тысячи — прочих иммигрантов оттуда же, 101 тысяча — людей, приехавших вследствие воссоединения семей, и, наконец, около 50 тысяч — студентов, учёных, деятелей культуры. Повторю: итого 3,2 миллиона. Думаю, что за минувшие полтора десятка лет эти цифры если и изменились, то не в сторону уменьшения.

Естественно, что в стране возникла и соответствующая социально-экономическая, духовная и бытовая инфраструктура. Она включает в себя разветвлённую сеть русских магазинов, ресторанов, туристических бюро, видеотек, газет и журналов, библиотек, клубов, что вполне естественно для такой мультикультурной страны, как Германия.

Подобной инфраструктурой, судя по всему, располагают турецкая, сербская, курдская и другие общины, сформировавшиеся в ФРГ. Правда, русскоязычное сообщество, пользующееся этой инфраструктурой, подразделяется на три национальных группы — немцы, русские, евреи. При этом некоторыми русскоязычными заведениями, как, например, магазинами, видеотеками, туристическими бюро, представители трёх групп пользуются сообща, а, скажем, клубы у всех свои.

Что касается газет, то здесь картина пёстрая. Первую в Германии двухнедельную газету («Европа Центр»), появившуюся в 1993 году и рассчитанную на русскоязычную интеллигенцию, выписывали представители всех национальных подгрупп. Затем появились ориентированная на наиболее многочисленную русско-немецкую аудиторию двухнедельная газета «Контакт», на всю русскоязычную среду — еженедельник «Русский Берлин»...

Ситуация на этом рынке была и остаётся сложной. Одни издания закрывались, другие открывались, сливались друг с другом, шла конкурентная борьба за аудиторию, за поставщиков рекламы. Как и положено на всяком рынке.

В нулевые годы и в начале десятых годов крупной компанией, выпускавшей газетно-журнальную периодику, оставался созданный в апреле 2001 года издательский дом «Вернер Медиа». Он выпускал еженедельную общественно-политическую газету «Европа-Экспресс», ежемесячную «Еврейскую газету» и глян-

цевый журнал «Вся Европа». Недавно издательский дом обанкротился. И сейчас в берлинском издательстве Рафаэля Коренцейхера выпускается ежемесячная русскоязычная газета «Еврейская панорама», унаследовавшая аудиторию «Еврейской газеты».

В данный момент в Германии продолжают выходить еженедельник «Русский Берлин — Русская Германия», информационный журнал «Партнёр», рассчитанные на русско-немецкую аудиторию еженедельник «Контакт-Шанс», ежемесячная газета «Земляки» и другие издания.

Перейдём, однако, к ещё одной составляющей русской культуры в Германии — литературной.

Есть в Берлине писатель Владимир Каминер. Он приехал в Германию в начале 90-х ещё молодым человеком и за эти годы стал прозаиком, весьма популярным среди немецкой читающей публики. Пишет он по-немецки, но героями его небольших рассказиков являются русские в Германии, которые в этих простеньких байках попадают в разные смешные положения. Я добросовестно прочитал по-немецки два сборника его рассказов и пришёл в недоумение — в чём причина его популярности?

Мне рассказывали, что институт Гёте устроил в Москве презентацию книги Каминера, где его новеллы читались с эстрады по-русски и по-немецки, и аудитория соответственно была русско-немецкой. Так вот немцы, слушая рассказы на своём языке, заливались смехом, аплодировали, словом, веселились на всю катушку. Русские же, когда чтение шло по-русски, недоуменно молчали. В чём же дело? Возможно, ответ на этот вопрос лежит в плоскости сравнительного литературоведения, исследования национальной читательской психологии. Немцы, у которых я спрашивал, чем им нравится этот писатель, отвечали коротко: «Занятно».

Во всяком случае, Каминер работает не для «наш».

А для нас есть целый отряд литераторов, живущих в Германии, пишущих по-русски и издающихся как в России, так и в Германии. Назову лишь несколько имён. В Мюнхене это Борис Хазанов, Вадим Перельмутер, Тамара Жирмунская, в Ганновере — Вадим Ковда, Леонид Борич, во Франкфурте-на-Майне

— Олег Юрьев, Владимир Батшев, в Кёльне — Владимир Порудоминский, в Берлине — Леонид Гиршович, Александр Лайко, Игорь Гергенрёдер, Вадим Фадин, Борис Шапиро, Игорь Шестков. (Некоторые из них уже представлены на страницах «Берлин.Берега». — Прим. ред.)

Это люди разных возрастов, судеб, уровня таланта, литературных школ. Одни пишут в добротной реалистической манере, другие идут путём формальных поисков, пишут современную, подчас изысканную, не так-то просто воспринимаемую прозу и стихи. Но все они относятся к числу людей, профессионально работающих в литературе. А ведь есть ещё достаточно обширный пласт авторов, пишущих любительские, ученические, чтобы не сказать графоманские сочинения, но от того не менее, а подчас даже более привязанные к своим литературным занятиям и отстаивающие своё право на публикацию.

О праве на публикацию разговор особый. В германском обществе, где не регламентируется это право, каждый человек, располагающий тысячей евро, может напечатать свои сочинения и распространять их по книжным магазинам. В результате девальвируется не только книжная, но и журнальная продукция.

Русская литературная традиция состояла в том, что всё наиболее интересное в прозе, поэзии и публицистике сначала должно пройти через толстые литературные журналы, а потом уже выпускаться книжными издательствами. Таким образом, следить за литпроцессом можно было, просматривая десяток журналов. И многие помнят советский журнальный бум, когда «Новый мир» выходил полумиллионным тиражом (а первый номер журнала за 1990-й год был издан тиражом свыше 2,6 миллиона экземпляров). Теперь всё изменилось. Тиражи «Нового мира», «Знамени», «Октября», «Дружбы народов» и других измеряются тысячами экземпляров. Тем не менее, и теперь толстые российские журналы, при мизерных тиражах и таких же мизерных гонорарах, неплохо отражают литературный процесс. «Толстяки» нередко выходят за счёт дотаций министерств культуры и печати.

Ну а как быть русскому литературному журналу, издаваемому за рубежом? Его-то никто не дотирует. Тираж минимальный, как распространять его, непонятно, разве что на

презентациях продавать. И возникает зависимость не только от читателя, что вполне естественно, но и от автора. Купил один-другой автор десятка два экземпляров — вот и появилась у журнала или альманаха возможность выпустить номер. А в результате открываешь это издание, и рядом с вполне профессионально написанным рассказом или повестью иногда стоит вещь совершенно ученическая. Здесь беда общая для всего литературного зарубежья.

В Германии литературная периодика небогатая, как правило, безгонорарная и с крохотными тиражами.

История этой периодики, если за точку отсчёта взять объединение Германии, изобилует попытками выпуска весьма пристойных журналов, которые, просуществовав какое-то время, закрывались по одной и той же причине — финансовой. Уместно вспомнить литературный альманах «Остров», журналы «Зеркало загадок», «Зарубежные записки».

В настоящее же время существует ежемесячный небольшого объёма журнал «Литературный европеец», с 1998 года самоотверженно выпускаемый во Франкфурте-на-Майне Владимиром Батшевым. Он же издает журнал покрупнее — «Мосты», который выходит раз в три месяца.

В Германии также живет Борис Марковский, главный редактор ежеквартального журнала «Крепцатику», выпускаемого петербургским издательством «Алетейя». Однако принципиальная особенность этого журнала — его интернациональность. К Германии как таковой «Крепцатику» не привязан.

Но, как бы то ни было, некое пространство публикации для живущего в Германии русского автора, который не всегда может дотянуться до российских литературных журналов, эти издания дают. Хотелось бы, чтобы это пространство было пошире, и в связи с этим можно приветствовать выход журнала «Берлин.Берега».

В заключение же поговорим о том, что представляет собой русский писатель в Германии.

Израильский русскоязычный литературный журнал *Nota Bene*, ныне, насколько я знаю, прекративший свое существование, в своё время опросил группу русскоязычных писателей и журналистов, живущих в Германии. Среди них были и уже

упомянутые Гиршович, Перельмутер, Юрьев, а также Михаил Блюменкранц, Илья Мильштейн и Дмитрий Хмельницкий.

Вопросы, задаваемые им, были связаны в основном с Германией — что она для них, интересно ли здесь жить, кем вы себя здесь ощущаете, как чувствуете и тому подобное. И вот что они ответили.

Почему эмигрировал? У одних здесь жила семья, родители, другим хотелось по тем или иным причинам уехать из России, а в Германию переезд оказался наиболее реальным и удобным. Словом, правильное было бы ставить вопрос так: не куда, а откуда уезжали.

На вопрос «что для вас Германия», почти все отвечали: жить здесь удобно. Вот это слово «удобно» встречается особенно часто. «Жить здесь удобно, хотя одиноко». «Германия для меня скорее нейтральный фон». «Германия действительно удобна для жизни, создает культурно-исторический фон».

Интересно ли жить в Германии? Интереснее ли и ближе вам происходящее в России, в Израиле? «Я не живу в Германии, я живу среди декораций, которые называются Германией. Декорации красивые, но пьеса не моя», — говорит один. «В последнее время происходящее в Германии большого интереса не вызывает, и слава Богу. Значит, на Шипке всё спокойно», — вторит ему другой. «Россия ближе всего!» — восклицает третий. «Меня интересует в первую очередь русская культура, поэтому культурные события в России и русском сообществе Израиля ближе, чем немецкие культурные события» — говорит четвертый.

Кем вы себя ощущаете в Германии? «Русским эмигрантом в культурном плане, евреем — в экзистенциальном плане». «Себя ощущаю по-разному, чаще всего русским евреем, живущим в Баварии». «Русским писателем, живущим в Германии. Здесь я не свой и не чужой». «Ощущаю себя русским эмигрантом». «Ощущаю себя евреем из России и пишущим по-русски писателем, живущим сейчас в Германии».

Как вы себя чувствуете в Германии? Как в своей стране? Как в стране чужой или даже враждебной? «В Германии себя чувствую комфортно. Как в стране, где находится мой дом

(квартира, книги)». «Конечно же, я не ощущаю Германию враждебной страной. Нужно быть мазохистом или иметь особую штирлицевскую миссию, чтобы жить в стране, которую считаешь враждебной. Кто заставляет-то?» Этот последний ответ дал Олег Юрьев. А в завершение сказал следующее: «Во всех странах мы непрошенные гости. Лишь в стране Израиля мы непрошенные хозяева».

Итак, перед нами коллективный портрет русского литератора, живущего в Германии. Живётся им здесь удобно, но Германия отнюдь не стала для них своей страной. Особого интереса происходящее в ней у них не вызывает. Интересуют их по-прежнему события в России, частью культуры которой они себя чувствуют. Публикуются они как в России, так и в Германии по-русски, впрочем, некоторых переводят на немецкий.

Русскоязычный читатель в Германии у них есть, а вот долго ли будет — это посмотрим, если доживём до смены поколений русской эмиграции. **Ю**

Переводчик-русист Вера Бишицки: Любой перевод — это лишь приближение

Вера Бишицки (Vera Bischitzky) — филолог, славист, переводчик с русского и английского языков. Родилась в 1950 году в Восточном Берлине, в 1986 году переехала в Западный Берлин. Перевела более двадцати книг различных авторов. В 2010 году за перевод «Мёртвых душ» получила специализированную премию для переводчиков имени Гельмута Бразма (Helmut-M.-Braem-Übersetzerpreis). В 2014 году в Ульяновске (Россия) Вере Бишицки присудили международную литературную премию имени Ивана Гончарова за перевод «Обломова» и особый вклад в изучение творческого наследия писателя. С Верой Бишицки беседует главный редактор журнала «Берлин.Берега» Григорий Аросев.

«Берлин.Берега»: Уважаемая госпожа Бишицки, я прочитал, что ваши родители очень любили русский язык. Правда ли это, и если да, повлияли ли они на ваше увлечение им?

Вера Бишицки: В первую очередь это была любовь к русской литературе, которую мне передали родители. Книги Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого, Тургенева, Чехова, Горького, Шолохова заполняли наши книжные полки — в переводах на немецкий, поскольку наша семья не имеет русских корней, как часто предполагается из-за моей фамилии (Бишицки — фамилия чешского происхождения, она происходит от названия городка Бишице, Bušice, что близ Праги; из Праги, кстати, родом мой дед).

В нашем доме царил дух литературы, особенно русской, «ибо достойная преклонения русская литература и есть та самая святая литература», как выразился Томас Манн в «Тонио Крегере». И как-то, весьма неосознанно, эта атмосфера распространилась и на меня, когда я была ещё маленькой. К тому же я выросла в восточноберлинском районе Карлсхорст. В годы моего детства там располагался Центральный штаб Группы со-

ветских войск в Германии. Я очень хотела попробовать свой русский язык, который учила в школе, и отчаянно-безрассудно толкалась среди солдат. Поразительным образом это было вовсе не сложно. Неподалёку от нашего дома, примерно в пятнадцати минутах ходьбы, находился советский танковый полигон. Странно, как мне теперь думается, ведь он совсем не был огорожен. В тринадцати- и четырнадцатилетнем возрасте я туда приходила и разглядывала, как танки маневрируют в грязи, или же как их чинят. Я даже заводила дружбу с танкистами — и до сегодняшнего дня удивляюсь своей храбрости, а также и доверию, которым пользовалась у родителей, ведь никто за мои прогулками не следил.

Позднее, в юности, я гуляла с молодым человеком, читающим вслух стихи Пушкина, сыном советского офицера, по улицам Карлсхорста, пахнущим сиренью и жасмином. Это было так романтично... Весной, когда цветёт сирень, я часто вспоминаю эти прогулки. Но кульминацией недели для меня оставалась среда — день кинопоказа в советском Доме офицеров. В полупустом зале я смотрела русскоязычные фильмы, хотя почти ничего не понимала. Меня восхищали уже киножурналы перед самими художественными картинами. Это были документальные ленты о бескрайних просторах Сибири, редких видах животных или других примечательных фактах из жизни природы или науки. Вопрос заключался не столько в картинках или словах — я понимала лишь малую часть русского языка — сколько в настроении, звучании, мелодичном, подчас патетическом голосе говорящего, который зачаровывал меня. Это было великолепно. Другой, незнакомый мир. Ныне я иногда пытаюсь доискаться, понять, что же, собственно, меня так околдовало. Возможно — и по сей день это так — большая эмоциональность, которая скорее соответствовала моему существу, чем более рассудительный, деловой душевный склад немцев... К сожалению, в Дом офицеров я была вынуждена постоянно ходить в одиночестве, поскольку такие «выходы» казались моим одноклассникам слишком странными, они никогда не хотели идти со мной. Большинство моих товарищей по школе считали «русских» никем иным, как оккупантами. Но для моих родителей они были, наоборот, освободителями, ведь я росла вскоре после войны, в 1950-х и 1960-х годах.

Но вернусь к своим родителям:

Отцу обязан ростом я,	Vom Vater hab ich die Statur,
Серьёзной в жизни целью,	Des Lebens ernstes Führen,
От матушки — любовь моя	Von Mütterchen die Frohnatur
К рассказам и к веселью.	Und Lust zu fabulieren.

Так писал Иоганн Вольфганг Гёте о своих родителях. В моём случае надо лишь поменять местами маму и папу... Именно любовью к своему делу и энтузиазмом в литературе и в жизни я обязана своим любимым родителям, которых уже давно нет в живых.

Без воспитания в родительском доме, пожалуй, никогда бы у меня не хватило ни смелости, ни терпения, ни чувства ответственности, которые необходимы, чтобы справиться с переводом и научным анализом творчества таких великих авторов, как Гоголь, Гончаров, Тургенев, Чехов. И без атмосферы, которая царила в нашем доме, я не оказалась бы настолько во власти литературы, особенно русской.

В своём эссе, которое было опубликовано в журнале «Иностранная литература»¹, вы писали: «...ведь и мой отец заронил в мою душу надежду на новую песнь, лучшую песнь». Это ваше высказывание отсылает к стихотворению Вольфа Бирмана, который мечтал о «лучшей Германии». А о чём мечтал ваш отец (и, возможно, лично вы), на что вы с ним надеялись?

Нацистские времена принесли моей семье немало горя. Мои родители приняли единственно правильное для себя решение: работать над тем, чтобы построить лучшую Германию. Они оба были мечтателями, идеалистами, действительно верили в то, что и людей, и весь мир можно сделать более хорошими, более справедливыми, более миролюбивыми. После войны, в конце сороковых годов, они оба осознанно поступили в университет имени Гумбольдта, который находился в восточной

¹ В. Бишицки «О той, что отважилась мыслить самостоятельно, или «Лишь тот, кто меняется, верен себе» (Иностранная литература, 10/2009)

части города — вместо того, чтобы поступить в новосозданный Свободный университет на Западе, при том, что оба жили там же — на Западе. Моя мама училась медицине, отец — славистике. А спустя некоторое время они переехали из Западного Берлина в Восточный, где я и родилась. Ирония судьбы распорядилась так, чтобы я тридцать пять лет спустя, разочаровавшись в Востоке, после длительной процедуры получения разрешения вновь переселилась на Запад. Тогда, в середине восьмидесятых, стена ещё стояла, и у меня получилась эмиграция внутри одного и того же города — совершенно абсурдное положение, которое посторонним сейчас сложно понять.

Генрих Гейне, в чьей «Зимней сказке» звучит фраза о «новой песне, лучшей песне», постоянно сопровождал меня в юности, он был мне чуть ли не родственником, и уж во всяком случае — родственной душой. До сих пор Гейне остаётся моим любимым поэтом — а в молодые годы я даже восторженно носила его портрет в своём кошельке! Как было бы здорово, если бы можно было «устроить здесь, здесь, на земле, жизнь на зависть небу и раю». Мои родители долго на это надеялись, прилагали к этому все усилия, наивно верили в хорошее, вопреки всему негативному, что произошло, и страшным событиям сталинизма, свидетелями которых они, конечно, тоже стали.

Строки Гейне о «сладком горошке» знают многие, однако я бы хотела напомнить о них ещё раз — ведь они прекрасны:

Я новую песнь, я лучшую песнь	Ein neues Lied, ein besseres Lied,
Теперь, друзья, начинаю:	O Freunde, will ich euch dichten!
Мы здесь, на земле, устроим жизнь	Wir wollen hier auf Erden schon
На зависть небу и раю.	Das Himmelreich errichten.
При жизни счастье нам подавай!	Wir wollen auf Erden glücklich sein,
Довольно слёз и мук!	Und wollen nicht mehr darben;
Отныне ленивое брюхо кормить	Verschlemmen soll nicht der
Не будут прилежные руки.	faule Bauch,
	Was fleißige Hände erwarben.

А хлеба хватит нам для всех,
 Закатим пир на славу!
 Есть розы и мирты,
 любовь, красота,
 И сладкий горошек в приправу.

Es wächst hienieden Brot genug
 Für alle Menschenkinder,
 Auch Rosen und Myrten,
 Schönheit und Lust,
 Und Zuckererbsen nicht minder.

Да, сладкий горошек найдётся
 для всех,
 А неба нам не нужно,
 Пусть ангелы да воробьи
 Владеют небом дружно!²

Ja, Zuckererbsen für jedermann,
 Sobald die Schoten platzen!
 Den Himmel überlassen wir
 Den Engeln und den Spatzen.

Руководствуясь этим девизом, я и росла. Как мы знаем, «сладкий горошек» не пролился до сих пор на человечество. И, наверное, и в будущем не прольётся, как бы мы того ни желали.

Первый урок на тему «самостоятельное мышление» мне преподали в августе 1968 года, когда советские танки вошли в Прагу, подмяв под себя «Пражскую весну». Тогда же наметился и первый раскол в нашей семье, поскольку мой дядя, профессор русистики, после подавления протестов в поддержку Александра Дубчека был изгнан из пражского университета и исключён из чехословацкой компартии. «Социализм с человеческим лицом» был нежелательным отклонением от «нормы». Когда дядя, уважаемый литературовед, переживший *Auschwitz* (Освенцим), оказался на железной дороге, где работал стрелочником, я, восемнадцатилетняя ученица, запуталась, оказалась в тупике. Прежде всего, я не понимала, как мой отец, этот добрый, умный человек, мог не принять «Пражскую весну», оправдать ввод советских войск в Прагу и изгнание дяди с работы. Всё, в чём я была уверена, все «правды», все мои устои зашатались. Я начала задавать вопросы, но ответы меня более не устраивали. С того момента у меня выработался иммунитет против индоктринаций любого рода...

Здесь я бы хотела привести ещё одну цитату — прекрасный фрагмент из рассказа «Гедали» Исаака Бабея: «Революция — скажем ей «да», но разве субботе мы скажем «нет»? — так

² Перевод В. В. Левика

начинает Гedaли и оббивает меня шёлковыми ремнями своих дымчатых глаз. [...] Хорошие дела делает хороший человек. Революция — это хорошее дело хороших людей. Но хорошие люди не убивают. [...] И вот мы все, учёные люди, мы падаем на лицо и кричим на-голос: горе нам, где сладкая революция?»

Ваше решение выбрать русский язык как предмет изучения выглядит нелогичным, парадоксальным, рискованным и даже опасным. Кажется, что все обстоятельства жизни были против этого решения. Как же вы всё-таки его приняли?

Нет, для меня это было логичным следствием. Я уже говорила, что очень любила русский язык, русскую литературу, что всё русское в моей семье ассоциировалось с хорошим, и что я находилась во власти «мифа русской литературы». Мои одноклассники дружески подтрунивали надо мной и не понимали моей идеи фикс. Однако я уже в те времена делала исключительно то, что хотела, что для меня было правильным, в том числе противостоя давлению извне. Однажды мои друзья даже хотели меня испытать — в новогоднюю ночь поставили бутылку водки на стол, желая увидеть, как далеко меня заведёт собственная самоотверженность и, возможно, даже «мимикрия» (как они, наверное, считали). Я не сдалась — выпила полный стакан водки. Мне тогда было восемнадцать лет, я не хотела выказывать слабость (сейчас, конечно, я бы не позволила проводить над собой такие эксперименты). Но: плыть против течения — это вызов, иногда, правда, воистину утомительный!

Для большинства, как я говорила, «русские» были нелюбимой оккупационной властью — особенно в Карлсхорсте. Солдаты — даже ещё в шестидесятых годах! — ездили по улицам нашего квартала на танках. Я чётко помню, как часто по утрам, около четырёх-пяти часов, длинные колонны советских танков катились по нашей улице. Стёкла дребезжали, выхлопные газы проникали сквозь щели в окнах, люди от этого просыпались. И когда я в половину восьмого шла в школу, наша улица была всякий раз ещё сильнее разбита танковыми гусеницами. Это было нашими буднями. Везде на улицах были видны советские

военные. Но над вопросом, почему, собственно, «оккупационная власть» вообще там присутствовала, никто не задумывался, а может, люди ещё были заражены нацистской пропагандой, этого я не знаю...

Интересоваться всем русским тогда считалось в любом случае чем-то абсурдным, подозрительным, по крайней мере, неуместным или, в лучшем случае, странным. Кстати: мои друзья знали меня и видели, что этим критериям я не соответствую — разве что я, возможно, была наивной и чуть-чуть не от мира сего. Я несла на себе печать некоторого экзотизма, и с этим я могла жить... Но я была (и остаюсь) борцом и всегда прикладывала усилия, чтобы бороться с предрассудками. Это я делаю и по сей день.

Но вначале я совсем не собиралась учиться русскому языку и литературе. Изначально я хотела стать археологом. Высокая античная культура меня привлекала со школьных времён — древние Египет, Греция, Рим, библейская Иудея... В юношестве я прочитала чудесную книгу К. В. Керама (Курта Вильгельма Марека) «Боги, гробницы и учёные», «археологический роман», как говорилось в подзаголовке. В ней автор описывал историю археологии как приключенческий роман. Особенно меня привлекала глава о Говарде Картере, который на протяжении десятилетий вёл раскопки в Египте и в результате совершил открытие века, найдя неповреждённую могилу Тутанхамона. И в школе наш учитель с энтузиазмом рассказывал о греческой, римской истории искусств, мы рисовали дорические и коринфские колонны... И сейчас я вспоминаю уроки по Тутанхамону. Учитель не мог удержаться от восторга, его глаза блестели, когда он рассказывал о сенсационном открытии могилы египетского фараона. Решение было принято: я тоже хотела вести раскопки, расшифровывать иероглифы, делать открытия, держать в руках керамические черепки, изучать быт, культуру, обычаи людей, живших за тысячи лет до нас. Поэтому сомнений не было: я собралась учиться археологии. Однако при ближайшем рассмотрении вопроса мне пришло в голову, что я же живу в стране, окружённой стеной с герметично закрытыми границами. Меня просто не выпустили бы в Грецию, Италию или Египет, не говоря об Израиле.

Осознание этого меня отрезвило. Но поскольку я — максималистка (всё или ничего), то с тяжёлым сердцем я сдала свою мечту об археологии в архив. Однако любовь к этой теме осталась до сих пор — музеев много, а равно книг, наподобие «Иосифу и его братьям» Томаса Манна, а путешествия — моя страсть. К тому же своего рода археологом языков, истории литературы и культуры я действительно стала...

Вторым языком, который вы учили, стал английский. Было ли это обязательным условием — учить ещё один язык?

Это вы точно предположили. Английский никогда меня особенно не интересовал. Я хотела учить славистику в чистом виде. Однако в университете имени Гумбольдта на славистику объявляли новый набор раз в два года. После окончания школы мне пришлось бы ждать ещё один год. В ГДРовскую эпоху, по крайней мере, в моё время не представлялось возможным просто пропустить один год. Всё было спланировано, наверное, так же, как и в СССР. Школа-институт-работа (школа-армия-институт-работа для юношей). К тому же мне пришлось бы ехать на учёбу в другой город, чего я не хотела делать. Мне нравилось домашнее чувство защищённости, в моей семье царил дух терпимости и открытости. В родительском доме мне всегда было хорошо. Так я осталась в Берлине и выбрала как второй предмет к русскому ещё один язык. Я бы с удовольствием стала изучать германистику, однако и эта комбинация предметов не была предусмотрена в университете Гумбольдта — в этом случае мне также пришлось бы ехать в другой город. Вот поэтому я и выбрала англистику вторым предметом — но без особого восторга. Англо-американская культура также, конечно, интересна, однако для меня она так и осталась чужой.

Каким вам показался русский как язык (без культурного и политического фона) — был ли он для вас лёгким? Что стало для вас особенно сложным?

На этот вопрос мне сейчас трудно ответить, я не помню, с какими сложностями я сталкивалась. Пожалуй, в первую оче-

редь это была грамматика, всё, что связано с теорией. Такие предметы, как лингвистика были для меня обязательными, неизбежными — гораздо охотнее я посещала лекции и семинары по литературе или страноведению, краеведению, истории. Но и языковые уроки в чистом виде мне нравились, особенно у тех преподавателей, для которых русский язык был родным. И я с удовольствием пела русские песни — иногда, кстати, вместе с отцом.

Тогда, в шестидесятые годы, в газетах и на радио странным образом возникали видения будущего: снова и снова мы слышали о роботах-переводчиках, которых изобретут в будущем. Я помню подобную радиопередачу, это было, возможно, в конце шестидесятых. С одной стороны, рассказывалось о конвейерных лентах на улицах города. Человек будущего более не должен будет сам передвигаться по городу, как нам сообщали, — он будет мягко скользить по транспортёрам из одного места в другое. Мне это не нравилось, поскольку я с удовольствием ходила пешком по улицам — и в этом по сей день ничего не изменилось.

Ещё менее мне понравились рассказы о роботах-переводчиках. Это означало, что уже очень скоро учить иностранные языки станет излишним. Машины возьмут на себя перевод с одного языка на другой! И это, отмечу, в шестидесятые годы, задолго до первых домашних компьютеров. Многих радиослушателей эта перспектива, наверное, радовала, но для меня она вовсе не была радужной, ибо я как раз решила начать учить языки. Неужели моя будущая специальность станет ненужной? Может, мне стоит поменять планы? Нет, об этом не могло быть и речи. Я решила не верить фантазиям о будущем и претворить свои намерения в жизнь несмотря ни на что.

Сегодня действительно существуют подобные конвейерные ленты в аэропортах или в огромных выставочных залах, однако по городу мы, к счастью, до сих пор ходим собственными ногами. А переводческие программы производят неудобоваримую кашу из слов, которая никому не помогает.

Помните ли вы свой первый перевод с русского?

Да, очень хорошо, но не столько то, что это был за текст, сколько его последствия — а именно, полученный за него гонорар. Ведь это был мой *первый* гонорар! Тогда, примерно в 1980 году, я работала редактором в одном из восточноберлинских издательств. Однажды одна из моих коллег спросила меня, хочу ли я перевести один большой материал для журнала — статью на педагогическую тему (точнее я уже не помню; думаю, речь шла о тексте про дошкольное образование). Материал вышел объёмным, поэтому я тогда получила действительно большую сумму, размером с половину месячной зарплаты. И поскольку это был, в самом деле, мой первый гонорар, я подумала: на эти деньги я должна купить нечто особенное. И поскольку я — завзятая страстная чаёвница, то приобрела чайник — но не абы какой, а из мейсенского фарфора. Мои коллеги сочли это абсурдным — почему я не купила что-то полезное, какой-нибудь электроприбор для дома, к примеру... Это было тридцать пять лет назад. Электроприбор за это время уже бы давно сломался, а тот чайник до сих пор со мной и до сих пор радует меня во время чаепитий. И, помимо прочего, напоминает мне о моём первом переводе...

Насколько я знаю, вы переводили следующих авторов: Чехова, Гоголя, Гончарова, Шаламова, Тарковского, Алексиевич, Рубину, Дубнова, Цейтлина, Бережкова. Упомянуты все или кто-то забыт? Вы сами выбирали авторов для перевода или каждый раз заключали договор с издательством о переводе определённого произведения? И как именно вы вели работу?

В случае с Шаламовым и Алексиевич на мою долю выпали лишь небольшие тексты, ведь у обоих авторов есть свои постоянные немецкие переводчики. Помимо названных авторов, я также переводила некоторые тексты с английского, а также много небольших материалов — для сборников, газет, журналов, каталогов. В первый раз я занялась переводами — за исключением того самого случая со статьёй о дошкольном образовании — лет двадцать назад, а до того, с 1980 года, я работала

фрилансером как редактор русской литературы. Помимо этого я также опубликовала много статей (эссе, фельетоны, статьи на историко-культурные темы, в том числе о Чехове, Гончарове, Гоголе, Томасе Манне, Генрихе Гейне, Рахель Фарнгаген, Вольфе Бирмане и других) в периодике и сборниках.

Что касается договоров — без них, конечно, работать нельзя. На все вышеупомянутые книги я вначале заключала договор, однако примерно с 2000-го года я сама выбираю книги, которые хотела бы перевести и издать. Я предлагаю издательству или редколлегии некую книгу и надеюсь, что смогу их убедить.

У меня всё развивалось именно так, потому что я, во-первых, по своей натуре «миссионер» и хочу другим дарить то, что сама считаю важным. А кроме того — и это тоже немало-важный критерий для меня — я могу справиться с такой колоссальной работой как новые переводы русских классиков лишь тогда, когда я чувствую созвучие между автором, его произведением и своим видением мира, своими эмоциями. Поэтому уже много лет я работаю не только как переводчик литературных произведений, но и как составитель (*Herausgeber*). Это предполагает, помимо собственно выбора книги и подчас напряжённого поиска издательства, написание послесловия и подробных комментариев. Исследования, которые я провожу с этой целью, обогащают и делают меня счастливой.

Сюда также относятся и краеведческие поездки по России, Украине, Израилю, контакты с авторами — такими, как Дина Рубина или Евсей Цейтлин. Благодаря этому у нас завязалась многолетняя дружба. Или, когда речь идёт о классиках, важен также обмен опытом с литературоведами по всему миру, специализирующимися на определённых авторах, и с сотрудниками музеев — к примеру, в Васильевке (там находится музей-усадьба Гоголя), Ульяновске (дом-музей Гончарова), Спаском-Лутовинове (музей-заповедник Тургенева, чьими произведениями я сейчас занимаюсь). Помимо этого я работаю в архивах — как было в Иерусалиме, когда я собирала материалы для книги Семёна Дубнова. Насколько волнующим было для меня просматривать черновики Дубнова к его крупнейшему труду — «Всемирной истории еврейского народа», держать в

руке его заметки, страницу за страницей. Как-то я неожиданно обнаружила письмо Альберта Эйнштейна, написанное в начале 1925 года, в котором Эйнштейн пригласил историка Дубнова, жившего тогда в Берлине, к себе домой на заседание, посвящённое созданию нового Еврейского университета в Иерусалиме. На встрече должен был присутствовать и Хайм Вейцман. Заседание, начавшееся «точно в 8 вечера в моей квартире», прошло на Хаберландштрассе, что в берлинском районе Шёнеберг, за три месяца до окончания строительства кампусов Еврейского университета на горе Скопус и открытия первых трёх факультетов 1-го апреля 1925 года... Для меня это были прекрасные моменты.

Счастьем наполняло меня и погружение в архивы Пушкинского дома (ИРЛИ РАН) в Санкт-Петербурге. Доставать из каталожного ящичка оригинал письма Гончарова или видеть фотографию, которую он подарил другу — это трогает сердце и награждает за многомесячную, многолетнюю работу за письменным столом...

Процесс сближения, проникновения в ситуации, в атмосферу, даже в душевную жизнь героев, требует гораздо большего, нежели просто языковые познания. Необходимо глубоко погрузиться в мир автора и познакомиться с историческими, культурными и биографическими обстоятельствами его жизни. На практике это означает, что нужно заранее или параллельно с переводом проработать горы книг, писем, дневниковых записей автора и его современников, а также в течение определённого времени отключиться от действительности и мысленно жить в мире автора, чтобы познать обозначенные в романе мысли, чувства и поступки. Даже кулинарные опыты имеют значение: только после того, как во время визита на Украину, в Полтаву, я попробовала окрошку, я смогла прочувствовать мечту Обломова об идеальном летнем дне:

«Потом, как свалит жара, отправили бы телегу с самоваром, с десертом в берёзовую рощу, а не то так в поле, на скошенную траву, разостлали бы между стогами ковры и так блаженствовали бы вплоть до окрошки и бифштекса».

Конечно, что-то можно перевести и не проживая *in natura* описываемые реалии, однако перевод литературных произведений требует передачи и чувств, которые ощущаются между строчками. Это, пожалуй, самая сложная задача.

Но сложных задач немало... Возьмём, к примеру, «Мёртвые души» Гоголя. Весь мир в этой поэме находится в пути: Чичиков в своей легендарной, довольно красивой рессорной небольшой бричке, в какой ездят холостяки, с тройкой знакомых читателю лошадей, «уже известных поимённо — от Заседателя до подлеца Чубарого»; черноногая Пелагея на козлах у Селифана; Ноздрев с колясочкой, «влекомой какой-то длинношёрстной четвернёй с изорванными хомутами и верёвочной упряжью»; дочка губернатора с прекрасным шестериком; «богач на пролётных красивых дрожках, на рысках в богатой упряжи», который на самом деле был конторщиком, ведь «волосы носил в кружок»; «мужик с нагруженной телегой, покрытою рогожею», который въехал во двор Плюшкина; Коробочка со своим весьма странным экипажем, «наводившим недоумение насчет своего названия. Он не был похож ни на тарантас, ни на коляску, ни на бричку, а был скорее похож на толстощёкий выпуклый арбуз, поставленный на колёса». «Фельдегерь с усами в аршин» и казённым экипажем, тройка которого «исчезнула [*sic!*] с громом и пылью»; отец Чичикова «на тележке, которую потащила мухортая пегая лошадка, известная у лошадных барышников под именем сороки; полицмейстер, который «поедет на дрожках» и «дать [*sic!*] порядок»; «купец на рысках был помешан [*sic!*]» с беговыми... Все они в движении, бесконечно тянется их караван: все эти экипажи, коляски, тарантасы, дрожки, телеги, подводы, линейки, дребезжалки, колёсосвистки. И для каждого экипажа должно быть найдено правильное немецкое слово (*Equipagen, Kutschen, Reisewagen, Droschken, Fuhren, Bauernwagen, Kremser, Klapperkisten, Quietschkommoden*).

Но это ещё одна из сравнительно легко решаемых задач.

«Чудовищен поварской прейскурант», — пишет Андрей Белый в своём исследовании «Мастерство Гоголя». Но как же передать названия «смачного изобилия» (Белый), множества заманчивых блюд, которые подают героям? Ведь здесь нужна

двойная передача: из одной культурной среды в другую, и из первой половины XIX века — в XXI век... Многие из этих блюд и других реалий и русским-то (и украинским) сегодняшним читателям уже незнакомы, а иные даже и не описаны в старых кулинарных книгах.

Напитки, водки, вина, закуски, мучные блюда, супы, жаркое, сладкое... «Не Илиада, — говорит Белый, — а жратв-иада». «Галушки, пампушки, коржики, масленцы, взваренцы и другие *пундики*. — «Что *пампушка* есть вид печёного теста, известно всем, а вот за *масленцы*, *взваренцы* я не ручаюсь: может, есть где-нибудь *взваренцы*, а может... и нет их нигде».

И как же это переводить?

«Арбуз» Коробочки был «напичкан мешками с хлебами, калачами, кокурками, скородумками и кренделями из заварного теста. Пирог-курник и пирог-рассольник выглядели даже наверх [sic!].»

Возьмем хотя бы этот «пирог-рассольник» помещицы Коробочки. Рассол — это жидкость, в которой солят огурцы, под рассольником подразумевают сегодня мясной или рыбный суп, в который подливают этот рассол. Но какая может быть связь между пирогом и супом на основе рассола? Пожалуй, можно было бы предположить, что это пирог, который подают к такому супу. Долго я перелистывала разные книги, искала в интернете. Наконец мне повезло: в одной из записных книжек Гоголя я прочла: «Рассольник — пирог с курицей, гречневой кашей, в начинку подливается рассол. Яйца рубленые». Таким образом, одна проблема, вроде бы, оказывалась решена — правда, ценой огромных затрат времени и сил: ведь нужно было сначала найти это замечание Гоголя о загадочном пироге-рассольнике в его записных книжках. Но передать это словосочетание на немецкий язык всё равно нельзя. Эти и подобные слова, для которых нет эквивалента в немецком, в моём переводе сохраняются в их оригинальном русском звучании и сопровождаются сноской.

Для понимания чужой культуры очень важны также наблюдения за повседневной жизнью. К примеру, однажды, во время работы над переводами из Чехова, я была в Таганроге и увидела свадебное торжество с шафером. Гости под аккордеон

распевали частушки. Это прекрасно, поскольку можно получить наглядное представление, «со звуком и красками». Также можно было увидеть высокомерных русских чиновников и их раболепных подчинённых, как в старые времена, как будто они сошли с чеховских страниц! А ещё я видела типичные двухэтажные дома, окрашенные в светло-зелёный или охристый цвета, с крыльцом перед входной дверью и неизбежным дощатым забором (о которых Чехов писал в «Даме с собачкой»: «Как раз против дома тянулся забор, серый, длинный, с гвоздями. От такого забора убежишь»).

Насколько для меня ближе становятся таким образом тексты!

Моя подготовка в работе состоит и из посещения музеев и галерей, поскольку из жанровых картин можно узнать очень многое о повседневной жизни тех времён, одежде, обстановке домов и даже о поведении людей. А частью подготовительной работы, и одновременно вдохновением может быть и музыка. При завязке отношений между Ольгой и Обломовым важную роль играет ария *Casta Diva* из «Нормы» Винченцо Беллини. Лишь после того, как я прослушала арию в исполнении Марии Каллас, Монтсеррат Кабалье и Анны Нетребко, я смогла по-настоящему постигнуть эмоциональный фон соответствующего фрагмента текста.

И «чистый» перевод — весьма продолжительный процесс. Когда я работала над новым переводом «Обломова», я во время работы часто слушала пассажи из русскоязычной аудиоверсии романа, поскольку, разумеется, при воссоздании текста большое значение имеют и звучание, и ритм. Таким образом я пыталась как можно глубже проникнуть в языковой и образный миры автора, отслеживать языковой ритм, эмоциональное, юмористическое, ироническое, и даже трагикомическое содержание текста. И как только работа над рукописью, наконец, приближается к концу, остаётся новосозданный немецкий текст — при наличии терпеливых слушателей в семье — путём зачитывания вслух для проверки на звучание и возможные ритмические нестыковки, а затем текст нужно далее оттачивать, подчищать и полировать, пока он не примет как можно более близкую к оригиналу форму. Ведь любой перевод может быть лишь приближением.

Я думаю, ни один читатель не может представить, как много времени, усилий, но и счастья вкладывается подчас в одно-единственное переведённое предложение...

«Коллекция» ваших авторов, на мой взгляд, очень необычна: в неё входят и классики — Гончаров, Гоголь, Чехов, а с ними соседствуют Бережков, Цейтлин, Дубнов. Когда вы начинали работу, сознавали вы, что три последних имени в России, прямо скажем, довольно плохо известны? Вы, несомненно, могли и дальше переводить «классических» классиков, но вы приняли другое решение. Почему? Возможно, тот факт, что некоторые авторы в России малоизвестны, стал для вас дополнительной причиной?

Новыми переводами классиков я начала интенсивно заниматься примерно десять лет назад. В каком-то смысле это было побегом из нашей мало радующей действительности. Конечно, и радостью, и огромнейшей честью.

Однако критерием, согласно которому я отобрала произведения Евсея Цейтлина или Семёна Дубнова, служила не степень их возможной известности, а ценность их трудов. Книгу Цейтлина «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти» я советую каждому читателю. Поэтому-то я и сказала, что склонна к «миссионерству»... Эта книга о деформации человека в тоталитарной системе.

То, что Семён Дубнов, известный историк и автор монументальной десяти томной «Всемирной истории еврейского народа» и других очень важных произведений («Истории хасидизма»; трёхтомной автобиографии «Книга жизни» и так далее) в России неизвестен, я считаю трагедией. Это — следствие его отъезда из России в 1922 году. С тех пор он стал персоной нон грата в СССР, одно хранение его книг в сталинские времена было делом опасным, многие люди его книги даже сжигали. Представьте себе, каково это — любимую книгу бросить в печь. Но мы помним слова Гейне: «Там, где сжигают книги, в конце сжигают и людей». В XX веке книги сжигали не только национал-социалисты, но и в Советском Союзе — сами владельцы книг со слезами на глазах. Это, пожалуй, ещё бóльшая трагедия...

Кстати, именно о таком говорится в одной из глав книги Евсея Цейтлина. Йокубас Йосаде, герой произведения, кстати, отнюдь не положительный герой (хотя откровенный — и поэтому его «исповедь» для нас очень важный документ), драматург, рассказывает:

Еврейские книги! Например, сочинения историка Семёна Дубнова. Он ведь «буржуазный ученый, националист» — это трешно. Или Перец Маркиш. Ещё недавно считался выдающимся советским поэтом. Но теперь уже арестован — значит, тоже трешно. Все еврейские книги, изданные за границей, — трешны. И за всё это меня могут арестовать. Да, да, только за хранение. Значит, надо всё это ликвидировать — почти всю свою библиотеку или, по крайней мере, большую её половину.

[...] Я жёг ночами свои рукописи, дневники, книги и — плакал. Рассматривая каждую бумажку, говорил себе: «Это часть твоей души». Держа в руках книги того же Дубнова или гениального Бялика, я вспоминал, что вырос, читая и перечитывая их. Хорошо помню те свои слезы и свой страх. Признаться: то были самые чёрные мои дни и ночи.

Интересуетесь ли вы современной русской литературой, и если да, как вы за ней следите? Кто ваш любимый русский писатель?

К сожалению, у меня почти не остаётся времени и сил на интенсивное погружение в современную русскую литературу. Когда я выключаю компьютер и откладываю книги после долгого рабочего дня, заполненного переводами, исследованиями, поисками, изучением источников по поводу моего текущего перевода, я чаще всего слишком уставшая, чтобы читать «просто так». Для отдыха с большим удовольствием я посмотрю какой-нибудь русский фильм, но и в этом я преимущественно остаюсь верна классике. Недавно на *Youtube* я посмотрела экранизацию «Идиота» Достоевского с Евгением Мироновым в главной роли. Великолепно.

Несомненно, работая над переводами, вы не могли не столкнуться с русским чувством юмора. Было ли вам трудно его понять? Близки ли юмористические, сатирические традиции двух языков — русского и немецкого?

Я люблю юмор и сатиру всякого рода, но в первую очередь — иронию и самоиронию. Однако что есть так называемый немецкий юмор, я не могу определить. По моему мнению, юмор и сатира — это общий настрой, который не зависит от государственных границ или национальностей. Генрих Гейне, Курт Тухольски — лучшие примеры этому, Томас Манн также известен тем, что мог с иронией описать свои чувства, характер, мысли — но одновременно через это же и замаскировать, спрятать их. Ирония и в первую очередь самоирония — это всегда средство самозащиты. То, что сегодня в Германии «продаётся» под вывеской юмора и сатиры, скорее свидетельствует о печальном опошлении общества, о его инфантилизации.

По этой причине мне не было сложно понять юмор, иронию или сатирические стороны в русской литературе, а равно воспроизвести их на своём языке — в произведениях Гоголя, Гончарова, Чехова, да и Дины Рубиной. Именно это соответствует моему характеру, поэтому моя работа была и остаётся для меня и с этой точки зрения большим подарком.

Какие пять книг на русском языке вы бы посоветовали читателю взять с собой на необитаемый остров?

1. Гоголь, «Мёртвые души»;
2. Гончаров, «Обломов»;
3. Сборник рассказов Чехова;
4. Сборник рассказов Зощенко;
5. Сборник стихотворений Окуджавы. 

Эрдмуте Лапп, Бохумский университет

Мудрый роман о любви, войне и разлуке

Lena Gorelik. *Null bis unendlich. Roman.*
Rowohlt, 2015. ISBN: 978-3-87134-806-8

Новая книга Лены Горелик *Null bis unendlich* («От нуля до бесконечности») затрагивает темы любви, войны (речь идёт о боснийской войне 1992-1995 годов), разлуки и смерти из-за болезни.

Числовой ряд от нуля до бесконечности включает в себя целую вселенную чисел. Все три главных героя весьма любят математику, и вместе с этим пытаются через этот самый числовой ряд рассказать о непостижимости любви.

Автор также пытается описать мир через имена героев. Имя героя Нильса Либе (*Nils Liebe*) — это скандинавская форма «Николая», а греческое слово *nike* означает «победа». (Такое написание — не *Niels*, а *Nils* — в Германии и Швеции весьма распространено.) А фамилия Либе (по-немецки «любовь») указывает на ключевую тему всего романа. Героиню книги, которая в 1992 году в 14-летнем возрасте приехала из Боснии в Германию, зовут Санела. Её имя, помимо прочего, также представляет собою вариант греческого имени Селена — «богиня луны». Возможно, таким образом автор нам намекает и на тёмную сторону её души. А к тому же «сан» на сербохорватском — «сон».

Во второй части романа сын Санелы, которого называют Нильс-Тито (*Niels-Tito*; написание *Niels* часто встречается в Дании и Норвегии), становится одной из ключевых фигур. Тито — сербохорватская форма латинского имени Титус, а помимо этого, Тито — партийный псевдоним Иосипа Броза Тито, лидера Югославии, объединившего страну и занимавшего высший

пост с 1945 по 1980 годы. Нильс-Тито вырос в Гамбурге, но неоднократно ездил с матерью и Нильсом Либе в Боснию. Его двойное имя связывает север с югом.

Сюжет выстроен очень крепко — литература создаёт смысл именно через структуру. Начало и конец романа происходят в одно и то же время, а значит, разлука и смерть предполагаются уже с самого начала. Сюжет делится на два промежутка во времени.

Действие первого происходит в 1992 году. Сирота Санела Пеянович во время боснийской войны приезжает в небольшой немецкий городок к своим родственникам. Там у неё завязываются дружеские отношения со своим одноклассником Нильсом Либе. При этом и он, и она наделены способностями выше среднего, поэтому в школе они особо не напрягаются. Их дружба ещё более крепнет после того, как они однажды проводят целый день в книжном магазине города. Там они ищут друг для друга цитаты из книг, которые они прочли и которые произвели на них определённое впечатление.

Нильс в лице Санелы впервые встретил человека, с которым ему не только не скучно, но который ему бросает своего рода вызов. (Личный комментарий: даже менее одарённые молодые люди не всегда в школе достаточно усердствуют. Когда кто-либо скучает, подобно Нильсу Либе, это означает, что человеку не хватает как минимум фантазии и творческих способностей.) Для Санелы дружба с Нильсом тоже важна, иначе бы она его не позвала его в Боснию, в район военных действий. Там она вместе с Нильсом хочет найти могилу своего отца.

Описание поездки в Боснию влетает в повествование быстро сменяющиеся временные пласты из прошлого. Эффектом этого становится упразднение линейного течения времени, а прошлое при этом становится частью настоящего. Ясно, что отец Санелы был для неё самой большой любовью в жизни, а так как она его потеряла слишком рано, ей очень легко его идеализировать. По её мнению, другие мужчины в любом случае не могут сравниться с ним. (Помимо прочего, отец Санелы незадолго до собственной кончины «утостил» девочку кофе и водкой. Ребёнка немедленно стошнило, но так как не особо оригина-

нально составленный завтрак — кофе и сигареты — также был вдохновлён отцом, то Санела всю жизнь хранила верность этому «меню».) Вернувшись из военной зоны, Санела пытается покончить с собой. Девушку отсылают в швейцарскую клинику, а её семья переселяется в Рурскую область. Санела и Нильс Либе более не общаются.

Санела уезжает в Гамбург, учится там театральному искусству, а в начале нового тысячелетия у неё рождается сын — Нильс-Тито. Его отец ещё до рождения ребёнка погибает в автокатастрофе. Санела растит сына в одиночку. После того, как у неё диагностируют опухоль головного мозга, она ищет Нильса Либе и обнаруживает, что он также живёт в Гамбурге. Санела, как и в школьные годы, пишет ему письмо, он отвечает ей — как и в школьные годы, цитируя книги, в том числе Сьюзен Зонтаг, поскольку Санела «уважает сильных женщин». Она приглашает его на дискуссию по случаю десятой годовщины смерти Зонтаг. Там, после 22 лет разлуки, они снова встречаются. Разумеется, как человек, связанный с театром, Санела знала, что в 1993 году Сьюзен Зонтаг в осаждённом Сараево поставила пьесу Самюэля Беккета «В ожидании Годо». А ещё Зонтаг, сама скончавшаяся от лейкемии, также написала книгу «Болезнь как метафора», посвящённую раку.

Санела, её сын Нильс-Тито и Нильс Либе начинают жить как одна семья; они любят друг друга, но люди, которые друг друга любят, также причиняют друг другу боль. Любовь не всегда выглядит так, как её описывают в книгах, и уж всё вовсе не так, если один из партнёров страдает из-за рака, химиотерапия не помогает, а болезнь вступает в последнюю стадию. Эти совместные переживания страшны точно так же, как и поездка в Боснию в разгар войны. Любовь как чувство исчезает, но Нильс Либе остаётся рядом с Санелой до конца, он перерастает сам себя. После её смерти Нильс остаётся с девятилетним Нильсом-Тито.

Любовь, разлука, последняя стадия рака рассмотрены и описаны очень хорошо. Роман в целом написан преимущественно хорошо. Критических замечаний совсем немного. Отрывистые короткие фразы относятся скорее к журналистике, однако в

этой книге этот стилистический приём иногда используется во вред. «Загреб. Потом поезд. Потом дом¹» — этот микрофрагмент текста может выглядеть как описание своего рода одышки и немоты — после всего пережитого в Боснии во время войны. Но есть и другие места, которые не очень удались (страницы 15, 241). Также есть пара неточностей в немецком и сербохорватском языках.

Однако же в целом «От нуля до бесконечности» — прекрасная книга о важных вещах. Она не даёт нам возможности понять любовь, войну, разлуку и смерть, но даёт возможность о них долго и глубоко размышлять. **Ю**

¹ *Zagreb. Dann Zug. Dann Zuhause.* (С. 74).

«Работа с языком — всегда работа с сопротивлением»

Круглый стол

Возможно ли стать классиком литературы - или хотя бы „просто“ выдающимся автором - если писать не на родном языке? История знает подобные примеры, но их довольно мало: Владимир Набоков, Джозеф Конрад, Эжен Ионеско (последний - с рядом оговорок)... И в любом случае подробности перехода из одного языка в другой известны не очень хорошо, а ведь это не менее интересно, чем итоговый результат. Как происходит подобное превращение, с какими трудностями встречаешься на этом пути, кем себя в итоге можно считать - об этом в рамках „круглого стола“ рассказывают авторы нового писательского поколения, чей родной язык - русский, но которые работают на немецком языке. В дискуссии принимают участие Лена Горелик (Мюнхен), Любовь Гольдберг-Кузнецова (Хильдесхайм), Ирина Бондас, Марина Б. Нойберт, Дмитрий Вачедин и Александр Филюта (все - Берлин).

В каком возрасте вы впервые столкнулись с немецким языком? Как и в каких обстоятельствах вы его учили?

Лена Горелик: Я приехала в Германию, когда мне было 11 лет, и пошла в 4 класс. Я пошла сразу в немецкий класс и учила там язык. Но больше всего мне помогло в изучении языка чтение книг, которые я брала в библиотеке. Так как я до этого прочла уже много книг на русском языке, то я читала их теперь на немецком и, догадываясь о содержании, пополняла так свой словарный запас. И сразу у меня появились немецкие подружки, что тоже ускорило моё знакомство с немецким языком.

Дмитрий Вачедин: Я столкнулся с немецким языком в интернате в Айфельских горах — это были интенсивные курсы для подростков-переселенцев. Мне было 17 лет, я не был очень мотивирован выучить немецкий. В той реальности он был не очень нужен. Я до сих пор думаю, что не выучил немецкий, а

изобрёл свой собственный язык, отдалённо родственный немецкому. Этаким личный «идиш», на котором и разговариваю, и пишу.

Любовь Гольдберг-Кузнецова: Ещё в дошкольном [возрасте] (в России, в Германию я приехала в 18 лет), когда смотрела какие-нибудь военные фильмы по телевизору на 9 мая. «Гитлер капут» и «Дастиш фантастиш» были одними из первых немецких выражений, которые я слышала. И представить себе не могла, что окажусь здесь. Уже тогда писала на русском сказки и хотела стать писательницей. За три месяца перед Германией мама нашла мне частную учительницу, к которой я ходила домой два раза в неделю. Она учила меня с самого нуля, алфавит, формулы вежливости, падежи, всё самое основное. Задавала домашние задания, но я их не делала. Я была занята прощанием с Питером, меланхоличным шатанием по городу и мечтами. Я знала, что выучу всё на месте. Так и вышло.

Ирина Бондас: В 6 лет, когда с семьёй переехала в Германию. Учила в школе и во дворе общежития.

Марина Б. Нойберт: В детском [возрасте]. Моя учительница немецкого была немкой, из немцев-пшавов, которые поселились в своё время на территории Советского Союза. А дома я училась с бабушкой, благословенна её память. Она привезла с собой немецкий из Галиции, где родилась. Когда-то Галиция была частью австро-венгерской империи, и немецкий был там одним из основных языков. Потом я закрепляла знания в университете. Основную школу прошла в МЛУ имени Мориса Тореза.

Александр Филюта: В 20 лет.

В каком жанре вы в основном работаете на немецком?

Лена Горелик: Я пишу романы и занимаюсь журналистикой.

Дмитрий Вачедин: Мне приходилось писать на немецком литературные, сценарные и журналистские тексты. Всё, кроме любовных записок.

Любовь Гольдберг-Кузнецова: Проза, трагическая беллетристика. Сейчас дописываю свой первый роман с рабочим названием «Коммуналка», он как раз о последних днях перед Германией. Иногда пишу стихи, но намного реже. Это скорее случайность. Раньше писала статьи для газеты *Rheinische Post* и вела два блога, один из них про Японию, другой — про дюссельдорфских художников. Но это тоже была трагическая беллетристика.

Ирина Бондас: Писала стихи, долго в жанре *spoken word*¹, сейчас, в частности, перевожу поэзию, театральные тексты, сценарии, научную литературу, публицистику.

Марина Б. Нойберт: Проза.

Александр Филюта: Поэзия.

Писали/пишете ли вы на русском языке (не считая личной корреспонденции)? Если да, отличается ли процесс литературной работы на немецком от работы на других языках — структурно, идейно, семантически?

Лена Горелик: Я чувствую себя неуверенно в русском языке и поэтому пишу на русском только по необходимости

Дмитрий Вачедин: Да, и писал, и продолжаю писать и на русском. Работа с немецким языком, конечно, обладает своей спецификой, но мне сложно сформулировать, в чём именно она заключается. Дело в том, что билингвальность моя не естественная, как во многих продвинутых семьях, а вынужденная, что ли. По психологическому складу я — не «билингва». Соответственно, чтобы писать на немецком, мне нужно забыть о том, что я его не знаю. Или о том, что я знаю русский.

Любовь Гольдберг-Кузнецова: В России писала на русском, перед отъездом училась три года в школе журналистики при Дворце творчества юных в Питере, писала там для газеты; успела поучиться один семестр на факультете журналистики в университете, из-за Германии пришлось бросить, чтобы здесь всё начать сначала.

¹ Приблизительный аналог в русском языке: художественная декламация (прим. ред.)

Для меня процесс работы отличается, например, тем, что в немецком нет многих слов, которые есть в русском и которые мне нравятся, например, «напутствие», «ненаглядный». Есть похожие или длинные выражения, которыми приходится слова заменять. В такие моменты испытываю приступы ностальгии, но помню, что русский от меня никуда не уйдёт (ведь так?). Переживаю, что мой русский может испортиться со временем (или уже?).

Ещё пользуюсь словарём синонимов, чтобы найти наиболее точный оттенок смысла. В России не приходилось. В остальном всё так же, во всём полагаюсь на свою интуицию и стараюсь игнорировать идейные и структурные «правила». Ещё есть такой очень важный момент. Недавно я обнаружила, что если я пишу текст сначала на русском, а потом его перевожу на немецкий, получается намного красочнее и интереснее, чем если с самого начала писать на немецком. Это делает процесс работы увлекательнее, так как никогда не знаешь, что у тебя там выйдет. Если я пишу просто на русском, этого переключения нет, и не нужно. У меня в университете есть учительница по писательству, которая меня очень хвалит. Она говорит, что у меня получается как-то «по-другому». Я думаю, причина как раз в том, что я всё сначала придумываю по-русски, и потом на немецком всё звучит как-то иначе, чем у тех, кто здесь вырос. Это, наверное, большой плюс, но я никогда не увижу того, что я пишу, на сто процентов «их» глазами. Пишу наугад. Мне главное рассказать свою историю, поделиться. Но если подумать, то и на родном языке всё было бы немного наугад. Никогда не увидишь своего текста на сто процентов чужими глазами.

Ирина Бондас: Нет, время от времени перевожу, но немного. Немецкий мне роднее.

Марина Б. Нойберг: Иногда пишу на русском — редко, но случается. В основном короткие рассказы. Мой процесс работы над ТЕКСТОМ по-немецки выглядит действительно иначе, чем по-русски, но это связано не со структурой и не с семантикой. Это связано с темпом: у меня по-русски не хватает дыхания на длинные дистанции. Может быть, поэтому и получаются только короткие вещи.

Александр Филюта: Да, пишу. Процессы литературной работы, в целом, похожи. Идейно есть, конечно, разница, хотя и в данном случае идеи могут плавно перетекать из языка в язык.

Случалось ли вам выбирать, на каком языке воплощать ту или иную идею? Или всегда в голове было сразу: «это пишу по-немецки»?

Лена Горелик: Я автоматически пишу и думаю на немецком, и поэтому у меня в голове не происходит выбора.

Дмитрий Вачедин: Выбор языка определяется поставленной задачей.

Любовь Гольдберг-Кузнецова: Да, случалось. Например, роман, который сейчас пишу. Но я заинтересована в его публикации здесь в Германии, поэтому пишу на немецком.

Ирина Бондас: Бывает, что определённые концепции существуют на — или в — одном из языков. Но меня очень занимает процесс сближения языков — именно преодоление границ и размышление о том, как выразить идею на чужом языке.

Марина Б. Нойберг: Один раз, когда писала рассказ про сестру, я выбрала русский — она не поняла бы его по-немецки. Поэтому выбор был тогда осознанный. Я настроила себя: вот сейчас буду писать по-русски. Но в большинстве случаев выбор происходит неосознанно — я не выбираю. Выбирает ТЕКСТ, которому надо появиться. Он оказывается всегда сильнее, больше и значительнее меня. Почему он выбирает именно немецкий, я не знаю.

Александр Филюта: По большому счёту, не случалось. Всё как-то по наитию. Важно, скорее, с каким языком в последнее время более интенсивно работаешь.

Стоит ли для вас вопрос авторской языковой самоидентификации? Иными словами, для вас принципиально то, что вы — писатель, или всё же важно то, что вы — писатель, работающий на немецком?

Лена Горелик: Конечно, для меня принципиально то, что я писательница и журналистка и, само собой разумеется, что пишу книги я на том языке, на котором думаю. Я, например, могла бы писать на английском языке. Это легче, чем по-русски. Но и это не мой родной язык.

Дмитрий Вачедин: В своё время я очень много времени потратил на формулирование собственной авторской языковой самоидентификации и, как мне кажется, исчерпал этот лимит на жизнь вперёд. Я пишу на немецком, потому что мне есть что сказать немецкому читателю. Это важный вопрос и, возможно, я к нему вернусь, но пока он вызывает у меня аллергическую реакцию.

Любовь Гольдберг-Кузнецова: Я писательница, которая в данный момент по официальной версии пишет на немецком. Потому что хочу публиковаться здесь. Но без русского ничего бы не вышло. Я пишу и на русском, это большое удовольствие. Но пока не знаю, как мне публиковаться в России. Лимонов писал в Америке на русском, не будучи уверен, куда он денет свои тексты. Это идеальное состояние для писателя. Может, я так и сделаю через какое-то время. То есть ответ отрицательный, никакой языковой самоидентификации нет.

Ирина Бондас: Думаю, что самоидентификация сама осуществляется на том или ином языке — самоидентификации, отлучённой от окружающей среды и языка, на котором отражается процесс рефлексии, не бывает. Владения несколькими языками на уровне родных, несколькими «памятями» и «опытами» поколений, которые присущи языкам, безусловно, влияют на работу с языком и подход к ней. Помимо этого, хотелось бы всегда думать о себе как более многогранном — и в чём-то уникальном — существе, качества которого все в чём-то принципиальны, а в чём-то слишком общие, чтоб быть достаточными для самоидентификации.

Марина Б. Нойберт: Что касается авторской самоидентификации, то я чувствую себя в процессе, описанном выше, языковым каналом для своего ТЕКСТА. Ни на объём, ни на длину, ни на общую вместительность канала я повлиять не могу. Но моё отношение к немецкому языку, как к главной субстанции,

из которой состоит этот канал, очень трепетное. Я очень благодарна за его присутствие в моей жизни.

Александр Филюта: Вопрос идентификации в какой-то момент уходит на второй план. Наверное, есть какие-то отличия, но для меня они не очевидны.

Можете ли вы описать свой процесс сочинительства на немецком языке? К примеру, на каком языке вы формулируете определённые фразы, обороты, сравнения, которые могут вам потом пригодиться?

Лена Горелик: Всё, что я пишу для немецкого читателя, я, конечно, формулирую на немецком языке.

Дмитрий Вачедин: Как и на русском — нащупываешь ритм и идёшь за ним, изумлённо наблюдая за тем, куда он тебя выведет. Конечно, уже после того, как ты понимаешь, что хочешь сказать и тебе более или менее ясен сюжет.

Любовь Гольдберг-Кузнецова: Иногда пишу всё сразу на русском, потом превращаю всё в немецкий. Иногда сразу на немецком, если получается. Полагаюсь на интуицию.

Ирина Бондас: На немецком. Но уже подход немного «окрашен» другим родным языком. Я смотрю на язык с некоей дистанции, больше задаюсь вопросами этимологии, созвучий, синонимов, корней, сравнения с русскими реалиями и так далее, рассматриваю язык как пластинку, как гибкий материал, поддающийся влиянию, или как организм, за жизнью которого следует пристально следить.

Марина Б. Нойберт: Немецкий язык очень замкнутый. Внутри него есть какие-то особенные, сверхсложные соединения — как в органической химии, которые со стороны, наверное, не могут быть по-настоящему изучены, а следовательно, и по-настоящему адаптированы. Но мне случается иногда в своих ТЕКСТАХ быть счастливым свидетелем того, как какое-то из таких неизвестных мне до сих пор, внутренних соединений вдруг прорывается наружу и остаётся — что-то незнакомое и неосознанное каким-то чудесным образом становится единственным, соответствующим моей мысли и моему чувству словом.

Тогда я очень радуюсь и очень благодарна за этот неожиданный подарок. Формулирую я изначально на немецком.

Александр Филюта: Решение о выборе языка напрямую зависит от того, в каком (языковом) контексте приходит идея или просто приходится работать.

Обогащают или мешают знания других языков (в первую очередь, русского, а также других, которые вы знаете — возможно, английского)?

Лена Горелик: Конечно, знания других языков только обогащают, а не мешают. Я свободно владею английским. Менее свободно: французским, латынью, ивритом, венгерским. Естественно, это делает мою творческую жизнь многостороннее. Иногда я представляю, как звучат слова на других языках, например, на русском или на английском, и это представление — яблоко выглядит по-разному, в зависимости от того, говорю ли я *яблоко*, *Apfel* или *apple* — мне помогает что-то описывать.

Дмитрий Вачедин: Одного австрийского писателя, читавшего мои немецкие тексты, очень забавляли мои дешёвые американизмы. Я их по его совету убрал.

Любовь Гольдберг-Кузнецова: Обогащают, ещё как. Иногда я знаю, какое слово мне нужно, только на русском или на английском. Смотрю в словаре. Если бы не было других языков, как бы я вспомнила?

Ирина Бондас: Бывает, что точнее можно было бы передать то или иное на другом языке. Но работа с языком, тем более поэтическая, это всегда и работа с сопротивлением и ограничениями, явными и менее явными, очевидными и менее очевидными.

Марина Б. Нойберт: Я не могу сказать, что я знаю какой-то один язык. Вот о Набокове могу сказать, что он знал русский. О Рильке могу сказать, что он знал немецкий. И о Фолкнере могу сказать, что он знал английский. Себя — со своим русским, немецким и английским — я в этот ряд поставить не могу. Поэтому, когда живёшь с ощущением того, что тебе один единственный язык по-настоящему (у)знать не дано, то за

каждую строчку, которую твой ТЕКСТ себе из твоего языкового арсенала выбирает, радуешься и благодаришь. Тут ничего помешать не может. Наоборот — только помочь.

Александр Филюта: Они скорее мешают, если речь идет непосредственно о создании текстов, но если с ними аккуратно обходиться, они, конечно, служат, источником, расширяющим языковой опыт, ну и кругозор, в конце концов.

Бывает ли так, что в процессе работы вам не хватает каких-то языковых нюансов? Как вы в этих случаях выходите из положения?

Лена Горелик: Естественно, я начинаю думать и искать какие-то новые формулировки. Но в моём случае это не связано со знанием языка.

Дмитрий Вачедин: Если не хватает языковых нюансов, появляется мысль: «жаль, но на немецком это не работает или работает не так». Но это не страшно — просто поворчишь и пишешь дальше.

Любовь Гольдберг-Кузнецова: Бывает. Формулирую всё заново, ищу выходы и обходы.

Ирина Бондас: Бывает. Бывает, что на другом языке существует более точный термин или подходящий оборот. Иногда не хватает целых реалий (спонтанно пришло в голову: «запой»). Нужно либо объяснять, либо «доносить» до языка новые смысловые и жизненные нюансы, но язык постепенно привыкает к новому и преобразуется, поэтому нужно прислушиваться к нему, понимать его механизмы и мышление — и чего ему не хватает. Но мне также кажется, именно в этом и состоит центральная задача каждого автора вне зависимости от языка и личного опыта.

Марина Б. Нойберт: Может не хватить какой-то языковой реалии. Тогда смотрю в словарях. Но в основном нехватка носит другой характер: иногда не хватает преданности ТЕКСТУ. Тогда происходит торможение. Это всегда мучительно, тут ни один словарь не поможет. Стараюсь тогда снова всё поставить на свои места: ТЕКСТ — главный, я — подчинённый. Это помогает.

Александр Филюта: Я занимаюсь поэтическими переводами, в таких случаях меня часто выручает поиск по синонимическому ряду или контекстный поиск в интернете.

Есть ли у вас литературные авторитеты/ориентиры, если да, можете ли их назвать?

Лена Горелик: Они меняются, так же, как меняется жизнь и меняюсь я. И я этому рада. Если мне надо было бы назвать одного авторитета, который остался со мной всю жизнь, то это Астрид Линдгрен.

Дмитрий Вачедин: Да, есть и очень много. В диапазоне от Валерия Попова до Аннетт Грешнер.

Любовь Гольдберг-Кузнецова: Элизабет Вурцель, Юкио Мисима, Дороти Паркер, Эдуард Лимонов, Valérie Valère, Вирджиния Вулф, Марсель Пруст, Эльфрида Елинек, Татьяна Толстая, Владимир Набоков, ещё два десятка других. Из молодых немецких нравится Хелен Хегеман. Но никого из них я не считаю ориентирами. Просто они мне нравятся и всё.

Я думаю, что на мою работу влияют не столько другие писатели, сколько окружение, образ жизни, фильмы, телевидение, интернет, события, что угодно. Почти невозможно с точностью описать, что больше всего повлияло. Для этого нужно было бы охватить реальность всей моей жизни в мельчайших деталях и принять решение насчёт каждой детали. Наверняка повлиял переезд в Германию и многоязыкость. Но это только один из бесчисленных аспектов.

Ирина Бондас: Есть много мною очень любимых авторов, и их список постоянно пополняется, а ориентиры могут быть самые разные, даже не авторы. Авторитетов нет.

Марина Б. Нойберг: Конечно есть, много. Но лучше не буду их перечислять: потом буду себя винить, если кого-то забуду. Однако могу сказать, что их всех объединяет: в их ТЕКСТАХ — несмотря на полную осознанность и максимальную, данную человеку, адекватность восприятия и оценки происходящего — отсутствует цинизм. Зато присутствует надежда. Всегда! Беккет лучше всего смог это сформулировать: все ждут Годо и верят, что он когда-нибудь обязательно придёт. Вот этот момент ожидания и есть мой самый главный литературный ориентир.

Александр Филюта: Конечно, есть авторы, которые на каких-то этапах влияют на работу в целом, на поэтику, в частности, или просто интересны сейчас. Как-то неловко просто перечислять имена, так как мало ими ограничиться, интересно ведь, почему тот или иной автор интересны. Но, тем не менее, из поэзии это, например, российские поэты и поэтессы: Анна Глазова, Дмитрий Голышко, Роман Осьминкин, Вадим Месяц, работающие в весьма разных поэтиках. Немецкие поэты и поэтессы: Моника Ринк, Штеффен Попп, Хендрик Джексон, Рон Винклер. Российские прозаики: Михаил Шипкин, Виктор Пелевин. Немецкоязычные: Кристиан Крахт, Мориц Валентин и другие.

Думаете ли вы на каком-то определённом языке, или всё же мысли существуют вне языка?

Лена Горелик: Я уже говорила, что я думаю на немецком языке. Но когда я нахожусь в русскоязычной среде, например, у родителей, в какие-то моменты, может быть, я думаю по-русски. Когда я у родителей, я иногда, ложась спать, беру свои любимые книги на русском языке, а просыпаюсь с книгой на немецком.

Дмитрий Вачедин: Если ловлю себя за вербализацией мысли, то это мысль на русском языке. В то же время стоит три дня провести в герметичной «немецкой среде», как в голове начинают раздаваться немецкие голоса.

Любовь Гольдберг-Кузнецова: На русском и на немецком попеременно, но не всегда осознаю, на каком в данный момент, если не нужно что-то говорить вслух. Иногда думаешь картинками, а не словами. Художники тогда сразу рисуют, что им пришло в голову. Я ищу слова, чтобы описать картинку.

Ирина Бондас: Думаю частично вне языка, а частично на разных, даже не родных.

Марина Б. Нойберт: Вот сейчас, например, отвечая на вопросы, думаю по-русски. Когда работаю над своим очередным ТЕКСТОМ, думаю по-немецки.

Александр Филюта: Думаю на русском, немецком, английском, французском или испанском, в зависимости от контекста. **ИИ**

Владимир Забалуев, Алексей Зензинов

Русь Немецкая¹

Драматический триптих

Часть первая

Миних, белый клоун, или Полуночный строитель

Глюк второй

*Типа 10 февраля 1762 года по юлианскому солнечному календарю.
Пелымский острог. Комната Миниха в доме коменданта*

Миних (*просыпается за столом*). Жена, ты здесь? Вот так и бывает: вчера, не заметив, уснул, а очнулся — уже светает.

¹ Пьеса «Русь Немецкая» (2003) посвящена государственным деятелям и политикам немецкого происхождения, а шире — немецкой составляющей в российской истории. Герои трёх пьес — фельдмаршал Миних, фактический правитель Российской империи в 1740 году, поручик Минович, организатор неудавшегося государственного переворота 1764 года, а также Владимир Ульянов-Ленин (потомок линии Грошопфов из Любека и Мекленбурга). Публикуемый фрагмент — второй акт из пьесы про Христофора Антоновича Миниха, выдающегося полководца, инженера, культуртрегера, государственного деятеля, чьими усилиями Петербург стал подлинной столицей империи. Миних был участником первого из серии государственных переворотов в середине XVIII века. Фельдмаршал низложил Бирона, регента покойной императрицы Анны Иоанновны, фактически заняв его место при малолетнем царе Иване VI. Бирон с женой по распоряжению Миниха были высланы в поселок Пелым в Сибири (Миних самолично начертил план тюрьмы для бывшего регента), но пока Бирон добирался до места ссылки, свергнутым оказался сам Миних. Бирон был возвращен в Москву, а Миниха отправили в тюрьму в Пелыме. Там он провёл 20 лет, а после смерти Елизаветы вернулся ко двору Петра III, оставшись ему верным во время переворота, совершённого Екатериной II. Однако новая императрица простила Миниха, приблизила его к себе и назначила руководителем строительства крепостей в нынешней Прибалтике. В российской и советской историографии Миних наряду с другими политиками немецкого происхождения традиционно рассматривался исключительно в негативном ключе. Пересмотра этого периода истории в России пока не произошло (прим. авторов).

Появляется жена Миниха.

Что там у нас? Ах, да! *Guten Morgen!* Молчишь? Ну, молчи, молчи, а я поболтаю.

Жена Миниха молча ставит ведро и льёт воду из ковша. Миних умывается, продолжая разговаривать.

Не поверишь, мне только что снился день нашей с тобой виктории — сразу же после устранения Бирона.

В зале дворца на Васильевском острове сидят за столом наши подлые конкуренты — Остерман, Левенвольде, принц Антон-Ульрих, *und so weiter, so weiter, so weiter*²...

Сиятельные мертвецы — мир их праху! во сне они ещё живы — с бледными от ужаса лицами внимают каждому моему слову, да и как же иначе, ведь я — на вершине величия.

Я давяю их ногтём, словно вшей, бью кулаками, ногами, а в завершение приказывают прогнать, как баранов, сквозь строй и сослать сюда, в Пелым.

Делаю то, что должен был совершить наяву, но так и не совершил, хотя должен был, должен был, должен!!!

На стене, как и тогда, висит чертёж тюрьмы, ставшей, по мысли моей, последним приютом Бирону.

Но вместо тюремного плана во сне на листе бумаги начертан Чёрный Квадрат, поглотивший нас с тобой, моё тело и дух, мои дела и замыслы.

Что за диспропорция получается, жена? Двадцать лет мы кукуем в Пельмском остроге, а этот прощелыга, этот везунчик, эта смазливая пустышка Бирон поболтался здесь пару всего лишь недель со своей горбатой мегерой — и отбыл, освободив место мне.

Пауза.

Что? Опять ты молчишь? Понимаю! И ты уже устала слушать мою болтовню на протяжении двадцати лет.

² И так далее, так далее, так далее (здесь и далее нем.)

Да, возвращаясь к нашим Биронам! Россия — маленькая страна. Я понял это, когда мы с регентом пересеклись. Нас везли в Пелым, а он ехал навстречу — в Ярославль, назначенный новым местом ссылки.

Я должен обязательно рассказать, как всё было! Ладно, не ворчи, тысячу раз ты слупала этот рассказ, выслушай в тысячу первый.

Два униформиста вносят на сцену портновский болван, облачённый в чёрный сюртук и чёрную широкополую шляпу.

Ты помнишь? Ты всё, конечно, помнишь — как вечер, на закате, в мороз наши сани остановились при въезде на мост через речку Булак, под Казанью?

Утомившись ожиданием, я с одним из охранников вышел размяться на снег и выкурить трубку, чтобы не досаждал тебе и второму охраннику, староверу, почитавшему табак изобретением дьявола.

На той стороне моста у полосатого шлагбаума, навстречу к нам стояли и ждали прохода такие же, как у нас, сани с охраной.

Из них вышел человек, *ein adliger Mensch*³ — истинный аристократ, судя по его благородной осанке.

Взгляды наши скрестились и мы узнали друг друга, потому что по ту сторону речки стоял граф Эрнст-Иоганн Бирон, а по сю сторону — граф Бурхард-Христофор Миних, два бывших властителя империи российской.

Кланяется болвану, затем подходит к нему, снимает шляпу с деревянной головы.

Не говоря ни слова, мы галантно поклонились друг другу. Беда уравнила нас, как уравнивает всех, а потом, лишь тот достоин звания благородного человека, кто в собственном несчастье уважает удачу соперника.

Униформисты уносят деревянного болвана.

³ Знатный человек

Жена Миниха.

Лучше расскажи, в нонешний свой сон
 Что ты вытворял, получав вино,
 Засланный в презент канцлер Остерман?

Пауза

Отчего молчать, мой любезный *Herr*?
 Не пугай жена! По спине моя
 За предчувствием холодец бежит.
 Неужели ты не завлек урок?
 И за двадцать лет не прибрал ума?
 Признавай скорей, старый сукин брат,
 Снова пропил ты травленный вино,
 И за чаркою вся империя
 Вновь впустил коту прямиком на хвост?

Миних. Жена, жена, прошу: не надо про это, не надо!

Я и без того проклиная себя за то, что, прорвавшись к истинному величью, позабыл про железное правило войны — всегда и везде блюсти предосторожность.

Вот уже двадцать лет каждое утро, проснувшись, я вспоминаю одно и то же — злополучный остерманов презент.

Вот и сегодня во сне, зная всё наперёд, я снова пил вино, смеясь, что обвёл мерзавца вокруг пальца.

Смеялся, и пил вино, и снова смеялся, и снова, снова пил вино, и вкус его до сих пор опаляет мне губы и нечем его заглушить.

Ты помнишь? Ты всё, конечно, помнишь! Потом были страшные боли в желудке, ужасные колики, и я две недели висел на волоске от смерти.

А пока я валялся в постели, беспомощный, как младенец, Остерман переманил на свою сторону принцессу и принца.

Нет, ты права, тысячу раз права и будешь права в тысячу первый раз — тогда я выкинул вторую и теперь уже совершенно фатальную глупость —

Стукнул кулаком, хлопнул дверью, подал в отставку,

а принцесса немедленно подписала прощение, словно этого только и дожидалась.

А через это на престол, повторив мой манёвр, взошла Лизавета, свергла немецкую шваль руками преображенцев, и сделала то, что должен был сделать я —

Сослала всю свору в Сибирь, а заодно и меня отправила заживо гнить в тесном дощатом гробу, в Пелымском остроге.

Что скажешь, *meine Liebe*⁴?

Жена Миниха.

Что моя сказать, Миних-богатырь?

Ты вся жизнь своя хитро прятался,

Да под старый лет разум притерял,

Видно, спесь тебе в *Kopf*⁵ ударилась.

Миних. Я духом упал, упал духом, я ничего не знаю, не вижу, не понимаю, я потерял всякое представление о причинах и следствиях.

Ты знаешь, ты видела и подтвердишь под присягой: я долго держался, все двадцать лет беседовал с Богом, не скажу, что слышал Его голос в ответ, но смирился.

Спал по три часа в день, остальное время проводил в трудах — сочинял прожекты фортификаций на турецкой границе, планы государственного переустройства,

Летом коротким возделывал огородный клин, ловил рыбу, метал стога, зимою строил курятники и штопал рыбачьи сети,

Ни минуты я не бездействовал праздну, двадцать лет был несибаем, а нынче почувствовал вдарут, что больше не в силах сносить ссылку.

Жена, что со мной? Скажи правду! Я пропал! Я окончательно и бесповоротно пропал!

⁴ Моя любовь

⁵ Голова

Жена Миниха.

Нонче за утром ипохондрия
Овладел тебя, *oh mein lieber Freund*⁶!
Ты живать в Пелым, будто царь и кум!
Пред тебя весь люд трепетать готов
*Von dem Kommandant*⁷ до истопника!
А все *Kinder*⁸ здесь под началом твой
Учатся *studieren die Mathematik*⁹,
Инженерный дел и другой наук.
При тебе, *mein Freund, diese Stadt*¹⁰ Пелым
Стань во тыщу крат образованней
Чем любой другой град во всех Руси.
И мечту своя заплатил ты в жизнь,
Пусть не в райхе весь, но в один лишь *Platz*¹¹,
И теперь Пелым называться мог
Айне абсолют счастлив деревень.

Миних. Не знаю, не знаю, не знаю! Приезжие из Тобольска
шепчутся, что императрица Елисавет вот-вот отдаст
Богу душу,
И тогда великий князь герцог гольштин-готторпский
станет новым государем, третьим по счёту Петром.

А что, ежели Елисавет перед смертью вспомнит турецкий
обычай и прикажет прикончить всех, кого не решилась казнить
при жизни?

Или, что ещё хуже, император по рассеянности забудет
о нас с тобой?

Жена, я сам себя не узнаю. Разве такой я был в сражениях
или на эшафоте?

⁶ Мой милый друг

⁷ От коменданта

⁸ Дети

⁹ Учат математику

¹⁰ Мой друг, этот город

¹¹ Месте

Жена Миниха.

Двадцать лет назад ты ходив на казнь
 И готов бывал к четвертанию.
 И все *Frauen*¹², быв на площади,
 Возлюбили тя завсегда на раз,
 Возбудив меня к диким ревностям.

Миних. Нет, каково! Двадцать лет прошло, а ты только сейчас
 признаёшься, что
 ревновала, видя меня на плахе?
 А помнишь, что перед казнью я сказал тебе...

Жена Миниха.

«Полно плакаться, неразумная!
 Отказать тебе мне уж нечего:
 Только что и есть перстень золотой,
 Да и тот отдать надо палачу,
 Что предаст меня смерти скорыя».

Миних. Скажи, только честно, я вёл себя как надо? Правда ведь,
 я тогда ни в чём не подгадил?

Жена Миниха.

Ты быть просто блеск! Выше всем похваля..
 Но теперь черед богослужбию.
 Наклони колень, очи приспусти
 И помолим нас, *mein geliebter Mann*¹³!

Миних (*вместе с женой*).

Vater unser
Im Himmel.
Geheiligt werde Dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.

¹² Женщины

¹³ Мой возлюбленный муж

Жена Миниха (*вместе с мужем*).

Отче наш,
Иже еси на небесех!
Да святится имя Твое,
да придет царствие Твое,
да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.

Пауза. Миних, прижав к плечу жены, плачет.

Успокой себя, мужа родненький!
Не грустись, не плачь, ровно дитятко,
Чтоб утешиться, я тебе пропел
*Dieses kleines*¹⁴ песнь колыбельную.

Гладит мужа по голове, напевая колыбельную.

Bäh, Lämmchen, bäh!
Das Lämmchen kriecht ins Heu.
Wärst du nie ins Heu gekrochen?
Hätt dich nicht der Fuchs gerochen?
Bäh, Lämmchen, bäh!
*Das Lämmchen kriecht ins Heu*¹⁵.

Входит Шпрехталмейстер.

Шпрехталмейстер

Приехавший по именному повелению
Его Императорского Величества
Из Петербурга
Курьер,
Пожелавший остаться
Инкогнито,
Ожидает вас
В комнате коменданта.

Вручает Миниху запечатанный конверт и уходит.

¹⁴ Эту маленькую

¹⁵ Баварская детская песенка про ягнёнка

Жена Миниха

Ob mein Gott ¹⁶, ужель ты прослушал нас,
И дождался нам избавления?
Собери свой ум, Миних-Богатырь,
Для аудиенц при инкогнито.

*Жена уходит. Миних медленно облачается в мундир, а затем
распечатывает письмо. Читает.*

Миних. «Ваше сиятельство! Радуемся смерти узурпаторши Елисавет, но купно с этим просим вас взять на себя высочайшие полномочия, доставшиеся нам волей обстоятельств и причудами расейского законодательства.

Сами мы люди не местные и не находим в себе способностей к исполнению задач, на нас возложенных.

Наша сокровенная мечта — уйти в монастырь, дабы замаливать, а не умножать бессчетно грехи наших предков, родственников и свойственников.

А потому должны мы найти себе замену, и всеискреннейше умоляем ваше сиятельство немедленно стать правителем нашей великой и несчастной империи...»

Прерывает чтение.

Интересно, кто же это?
«Его Императорское Величество Пётр Фёдорович
И Ея Императорское Величество Екатерина Алексеевна».
Интересно, интересно!...

Продолжает чтение.

«Сообщаем, что сей минут производим вас в светлейшие князья и генералиссимусы!

Ваше светлость, господин генералиссимус...

Входит Шпрехталмейстер.

¹⁶ Боже мой

Шпрехшталмейстер

Презент
Его светлейшеству
Князю Миниху.
Все инструкции по пользованию
Приложены
К ранее вручённому письму.

Четверо униформистов вносят гроб и ставят его на пол, кладут на крышку свежесвыструганный осиновый кол, после чего уходят вместе со Шпрехшталмейстером.

Миних. Интересно, интересно!..

Обходит гроб, после чего возобновляет чтение письма.

«Ваша светлость, господин генералиссимус!

В подтверждение искренности наших намерений высылаем вам гроб с телом узурпаторши Елисавет, дабы вы, по старому доброму русскому обычаю, могли воткнуть осиновый кол в сердце Великой Вампириши Земли Русской.

Исполнение сей простонародной традиции, сиречь молодеческой забавы, позвольте считать вашим согласием на принятие наших предложений».

Подпись... Уже читал... Интересно, интересно!..

Повторяя «Интересно! Интересно!», обходит гроб, берёт в руки кол. Приставляет его к сердцу, затем — к носу, затем делает вид, что садится на него, затем приставляет к причинному месту, затем — делает с колом строевые упражнения. После этого осторожно приоткрывает крышку гроба. И в тот же момент невидимая мощная рука затягивает его внутрь. Раздаётся истошный крик двух голосов. Свет гаснет. Ъ

Сведения об авторах

Сергей Бирюков (1950, Тамбовская обл.). Поэт, переводчик, теоретик и практик авангарда, доктор культурологии. Основатель и президент Международной Академии Зауми. Преподаёт русскую литературу в университете имени Мартина Лютера. Стихи переведены на 25 языков. Автор одиннадцати поэтических и шести исследовательских книг. Публикации на немецком языке в журналах и антологиях Германии, Австрии, Швейцарии. Лауреат Второй берлинской лирикспартакиады, Международной литпремии имени Алексея Кручёных, Всероссийской премии имени Фёдора Тютчева, премий ряда журналов и фестивалей. В Германии с 1998 года. Живёт в Галле.

Ирина Бондас (1985, Киев). Поэт, эссеист, переводчик. По образованию переводчик и политолог. Автор ряда статей и эссе, а также мини-драмы *Gipfeltreffen*. Неоднократный победитель международных поэтических слэмов. Тексты публиковались в периодике и антологиях. В Германии с 1992 года. Живёт в Берлине.

Дмитрий Вачедин (1982, Ленинград). Прозаик, сценарист, журналист. По образованию политолог и славист. Автор книги «Снежные немцы» (Москва, Прозаик, 2010), в 2013 году она переведена на английский язык (*Snow Germans*, 2013). Ряд публикаций в российских литературных журналах. Лауреат премии «Дебют» (2007) и «Русской премии» (2012). В Германии с 1999 года. Живёт в Берлине.

Екатерина Васильева (1974, Ленинград). Прозаик, автор ряда теоретических работ по литературе. Занимается научными исследованиями в области визуальной культуры. Лауреат премии журнала «Нева». Роман «Камертоны Греля» (2011) вошёл в лонг-лист «Русской премии» и премии «Национальный бестселлер». В Германии с 1992 года. Живёт в Берлине.

Любовь Гольдберг-Кузнецова (1982, Ленинград). Изучала философию и японологию в Дюссельдорфе и Киото. В настоящий момент изучает *Creative Writing*. Ведёт блог и канал на *Youtube*, специализирующийся на интервью с посетителями литературных мероприятий. Публикации в газете *Rheinische Post* и интернет-журнале *Logbuch-Subrkamp*. В Германии с 2001 года. Живёт в Хильдесхайме.

Лена Горелик (1981, Ленинград). Прозаик. По образованию журналист. Автор семи книг. Лауреат *Scheffelpreis* (2001), Баварской художественной премии за роман *Meine weißen Nächte* (2005), премии имени Эрнста Хоферихтера (2009), премии имени Фридриха Гёльдерлина города Бад-Хомбурга (2009), а также премии Фонда *Ravensburger Verlag* за роман *Die Listensammlerin* (2014). В Германии с 1991 года. Живёт в Мюнхене.

Юлия Ефременкова (1983, Одинцово, Московская обл.). Юрист. Окончила факультет истории, политологии и права РГГУ. На страницах литературного журнала публикуется впервые. В Германии с 2014 года. Живёт в Берлине.

Владимир Забалуев (1961, Кострома). Драматург, сценарист, прозаик. По первому образованию — историк. Кандидат наук. Работал в Фонде эффективной политики. Живёт в Москве.

Алексей Зензинов (1961, Кострома). Драматург, сценарист, прозаик. По первому образованию — историк и педагог. Работал на телевидении репортёром, художественным руководителем и шеф-редактором программ. Награждён премией «Долг. Честь. Достоинство» Всероссийского конкурса драматургов (2008). Главный автор международного драматургического проекта «Русские, они такие...» Живёт в Москве.

Забалуевым и **Зензиновым** в соавторстве написан ряд материалов на темы театральной и культурной жизни. Пьесы и сценарии Забалуева и Зензинова поставлены в *Teampе.doc* и в теат-

рах «Практика», «Политеатр», «Мастерская», «А-Я». Участники и лауреаты драматургических конкурсов «Премьера», «Новый стиль», «Евразия». Участники коллективных драматургических проектов «Страх мыльного пузыря» и «Переход», проекта «Человек.doc» (спектакли про Петлюру, Владимира Мартынова, Артемия Лебедева, Гермеса Зайготта, Александра Филиппенко). Принимали участие в создании художественных фильмов и телесериалов. Также ими написаны роман «Искушение фотографа», тексты «Дефрагментация» и «Фабрика счастья».

Максим Кашеваров (1979, Одесса). Прозаик, сценарист, график-иллюстратор, реквизитор на различных кино- и телепроектах. Ряд публикаций в русскоязычных изданиях. Рассказ «Воскресенье» вошёл в сборник молодых писателей Германии (*Literareon*, Мюнхен, 2001). В Германии с 1998 года. Живёт в Кёльне.

Семён Коган (1945, Бендеры). Прозаик, поэт, драматург. По первому образованию — инженер-радиофизик. Автор более двух десятков книг, пьес поставленных в театрах СССР. Ряд публикаций в российских и зарубежных изданиях («Юность», «Литературная газета», «Крокодил» и других). Лауреат всесоюзных и международных конкурсов юмора. В Германии с 1995 года. Живёт в Гамбурге.

Елена Лавин (Новосибирск, Академгородок). Археолог. График. 3D-аниматор. На страницах литературного журнала публикуется впервые. В Германии с 2004 года. Живёт в Берлине.

Александр Лакманн (1970, Иолотань, Туркменистан). Переводчик, драматург, либреттист, журналист. По первому образованию — преподаватель немецкого и английского языков. Одиннадцать лет прослужил в Театре музыкальной комедии в Санкт-Петербурге, где в общей сложности поставлено одиннадцать спектаклей по его пьесам и сценариям. Автор большого количества публикаций, посвящённых творчеству современных российских художников и актёров музыкаль-

ного жанра (в журналах «Невский альманах», «Соседи», «ОпереттаЛэнд» и других). Для Театра музыкальной комедии и для иных музыкальных сцен сделал ряд переводов оперетт и мюзиклов с немецкого и английского. В Германии с 2015 года. Живёт в Берлине.

Александр Ланин (1976, Ленинград). Поэт. Окончил математический факультет Боннского университета, работает в финансовой сфере. Публикации в ряде альманахов («Белый ворон», «Зарубежные задворки», «Интеллигент» и другие), а также различных коллективных сборниках. Призёр литературных конкурсов «Пушкин в Британии», «Эмигрантская лира», «Ветер странствий», «Кубок Балтики по русской поэзии». В Германии с 1992 года. Живёт во Франкфурте-на-Майне.

Эрмуте Лапп. Переводчик, доктор филологии. Изучала англистику, американистику и славистику в университетах Гамбурга, Блумингтона (Индиана, США) и Москвы (МГУ). С 1996 года возглавляет Центральную библиотеку Рурского университета. Живёт в Бохуме.

Алексей Макушинский (1960, Москва). Поэт, прозаик, эссеист. Доктор филологии. Работает в университете Майнца на кафедре славистики. Автор шести книг (трёх романов, двух стихотворных сборников и одного сборника эссе и статей). Член редколлегии журнала *Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte* и его русскоязычной сетевой версии «Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры». Постоянный автор ведущих литературных журналов. Лауреат премии «Глобус» журнала «Знамя» и Библиотеки иностранной литературы имени Рудомино за роман «Город в долине». В Германии с 1992 года. Живёт в Майнце.

Александр Мильштейн (1963, Харьков). Прозаик, художник, по образованию — математик. Автор шести книг. Лауреат «Русской премии» (2015) за книгу «Параллельная акция» (Москва, ОГИ, 2014). С этой же повестью входил в короткий список премии «Нос». В Германии с 1995 года. Живёт в Мюнхене.

Фридрих Ницше (Friedrich Nietzsche, 1844, Рёккен — 1900, Веймар). Философ, филолог, поэт, композитор. Автор ряда заметнейших философских трудов, среди которых «Весёлая наука» (*Die fröhliche Wissenschaft*, 1882), «Так говорил Заратустра» (*Also sprach Zarathustra*, 1883–1885), «По ту сторону добра и зла» (*Jenseits von Gut und Böse*, 1886), «Сумерки идолов» (*Götzen-Dämmerung*, 1889), *Ecce homo* (1888) и другие. В своих произведениях впервые ввёл образ «сверхчеловека», заявил о «смерти Бога». С 24-летнего возраста и до смерти Ницше по принципиальным соображениям оставался лицом без гражданства.

Марина Б. Нойберт (Лемберг). Писатель. По первому образованию германист, журналист. Автор книги *Bella und das Mädchen aus dem Schtetl* (2015). Прочие публикации в издательстве *Ariella Verlag*, а также в журналах *Eilenriede*, *Einajim* (Israel). Награды: премия *Award of Merit* города Сан-Франциско в области культуры (1994), *Axel-Springer-Preis* за радиоочерк «Воспоминания» (1996). В Германии с 1994 года. Живёт в Берлине.

Динара Расулева (1987, Казань). Астрофизик-теоретик. На страницах литературного журнала публикуется впервые. В Германии с 2015 года. Живёт в Берлине.

Михаил Румер-Зараев (1936, Москва). Журналист, публицист, прозаик. Член Союза писателей Москвы. Редактирует газету «Еврейская панорама». Работал в различных газетах и журналах России — в «Московской правде», «Сельской жизни», «Огоньке», «Веке». Публикации в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Дружба народов», «Звезда», «Нева». Автор ряда книг, последняя из которых — «Диабет и другие повести» — вышла в Москве в 2016 году. В Германии с 1996 года. Живёт в Берлине.

Светлана Тарханова (1982, Москва). Кандидат искусствоведения. Работает в Научно-исследовательском институте теории и истории архитектуры и градостроительства. Автор четырёх научно-популярных книг по мировой архитектуре и нескольких десятков научных статей. Участник международных

конференций в России, Греции, Англии, Болгарии, Израиле; участник археологических и реставрационных экспедиций в Израиле и Египте; экскурсовод по Израилю. Живёт в Иерусалиме.

Александр Филюта (1971, Ленинград) Поэт, переводчик, куратор. Пишет на немецком и русском языках, переводит с русского, немецкого, английского, украинского, французского и испанского языков. В 2010 году основал поэтический проект «Поэзия в чужой стране» (*Lyrik im ausland*) в берлинском культурном центре *ausland*. Участник и руководитель ряда литературных проектов. Ряд публикаций оригинальных и переведённых произведений в российских и немецких изданиях, включая литературный журнал Цюрихского университета, журналы *Herzattacke* и «Новое литературное обозрение» (Москва). В Германии с 1993 года. Живёт в Берлине.

Марк Харитонов (1937, Житомир). Писатель, поэт, эссеист, переводчик. По первому образованию — историк, преподаватель. Автор шести романов, десятка повестей, большого количества рассказов и эссе. Стихи публиковались в российских и зарубежных журналах. Проза переведена более чем на десять языков. В 1992 году стал первым лауреатом «Русского Букера» за роман «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича». Живёт в Москве.

Наталья Хмелёва (1989, Измаил, Одесская обл.). Поэт. По первому образованию преподаватель английского, немецкого языков и зарубежной литературы. Учится на философском факультете университета Генриха Гейне. Публиковалась в журналах «Грани», «Новая реальность», «Пражский Парнас», на портале «Полутона». Награды: «Стильное перо- 2011», «Стильное перо- 2012», второй приз в жанре «Юмор и сатира» на фестивале «Европа — 2013» (Прага). В Германии с 2011 года. Живёт в Дюссельдорфе.

Борис Шапиро (1944, Москва). Поэт, переводчик, прозаик. Переводит с немецкого на русский и с русского на немецкий. Окончил МГУ (физический факультет). Организатор поэтических объединений и чтений в Москве (1963-1965), Регенсбурге (1981-1986), а также ряда международных конференций, коллоквиумов и семинаров по русской литературе и переводу (Германия, Россия, Литва, Израиль). Член международного ПЭН-клуба. Автор более двадцати поэтических книг. Более ста публикаций стихов, переводов, рецензий и эссе. Лауреат ряда премий и стипендий, включая премию Фонда Конрада Аденауэра за книгу *Nikeische Löwin* (2000). В ФРГ и США проводит лекции по истории литературы и теории поэзии. В Германии с 1975 года. Живёт в Берлине.

Kurze Zusammenfassung

Die zweite Ausgabe von «Berlin.Berega» beginnt mit je einem Gedichtzyklus von **Alexander Lanin** (Frankfurt a. M.) und **Natalia Khmelova** (Düsseldorf). Der erste trägt den Titel „Kessel“, der zweite heißt „Auf einer Insel“.

Alexei Makushinsky, Professor an der Universität Mainz, stellt sich mit seinem Text „Ostergo“ vor. Schwer zu entscheiden, welchem Genre er zugehört. Handelt es sich um eine Erzählung, ein Essay oder ein kleines philosophisches Traktat? ... Der Protagonist befindet sich in Dänemark, plötzlich hat er eine Autopanne. Makushinsky versteht es meisterhaft, aus diesem Kontext heraus zahlreiche Betrachtungen über das Schicksal, die Welt und den Menschen anzustellen.

Der junge, aber bereits erfahrene und anerkannte Autor **Dmitry Vachedin** (Berlin), Träger zweier Literaturpreise, publiziert hier seine neueste Erzählung „Saratov-93“. Der Protagonist, der gegenwärtig in einer Stadt namens Berlinograd lebt, lernt eine junge Frau aus dem russischen Saratov kennen. Alles könnte gut werden, doch die Frau lebt im Jahre 1993. Vachedin erzählt, wie sie nach Berlinograd gelangt ist und was sie dort unternimmt.

Es folgen drei weitere Gedichtzyklen: **Alexander Filyuta** (Berlin) stellt die Sammlung „Nord-Wedding“ vor. Die Gedichte von Dr. **Sergej Birjukov** (Halle/Saale) tragen den Titel „Der Flug des Dinos“. Birjukov ist ein Klassiker der avantgardistischen Poesie und ein Theoretiker avantgardistischer Kunst. **Boris Schapiro** (Berlin), Physiker, Übersetzer und Essayist, publiziert seine Sammlung „Die schlauen Vögel“.

In der Kurzgeschichte „Glubokovskij“ unternimmt **Ekaterina Vassilieva** (Berlin) eine poetische und zugleich philosophische Analyse der Realität. Die Perspektive einer erwachsenen Frau und eines Kindes verschmelzen miteinander, um in der Figur des ehemaligen

Klassenkameraden namens Glubokovskij die Projektion des jeweils Anderen zu schaffen, von dem man sich abgestoßen fühlt, den man jedoch auch begehrt. Im Mittelpunkt stehen dabei Paradoxien der Beziehungen zwischen den Geschlechtern sowie zwischen den Intellektuellen und den Vertretern der unterprivilegierten Gesellschaftsschichten.

Alexander Milstein (München) ist mit einem Fragment seiner Novelle „Tinowizkij“ vertreten. Der Protagonist spielt kein Musikinstrument, bekommt jedoch eine Einladung, einem Ensemble beizutreten. Die Gruppe spielt ernste Musik. Die Proben des Ensembles bilden das Hauptthema des Fragments, hinzu kommen flashbacks, in denen sich Tinowizkij u.a. seiner früheren Ehefrau erinnert.

Semjon Kogan (Hamburg) ist mit der kleinen Erzählung „Betrübt“ vertreten. Es geht um den Alltag eines russischen Emigranten in den mittleren Jahren. Er ist ständig sehr betrübt. Warum? Das versucht er während der ganzen Erzählung herauszufinden.

In seiner Kurzgeschichte «Irgendwann» erzählt **Maksym Kashevarov** (Köln) von mehreren Liebesbeziehungen — oder doch nur von einer, die sich in mehreren anderen unter unterschiedlichen Umständen (mal glücklichen, mal traurigen) widerspiegelt.

In dieser unseren zweiten Ausgabe beginnen wir mit einer neuen Rubrik mit dem Titel „Debüt“. Drei Teilnehmerinnen des Literaturstudios von **Dmitry Vachedin** (s. oben) erscheinen hier zum ersten Mal mit ihren Werken auf den Seiten einer Literaturzeitschrift. Alle drei Autorinnen leben in Berlin. Hier eine Kurzcharakteristik ihrer Erzählungen:

Die Heldin der Erzählung von **Julia Efremenkova**, Emigrantin Mascha, bekommt Besuch von einem Freund der Freunde. Mit dem unternimmt sie einen Trip durch Berlin und krempelt in ungeahnter Weise ihr Leben um.

In der Erzählung „Sonnenuntergang Donnerstag“ von **Dinara Rasuleva** geht es um einen typischen Bewohner Berlins. Dieser versucht sich im Gewirr der Großstadt zurecht zu finden.

Die Autorin **Elena Lawin** stellt ihre Erzählung „Clowns und Luftballons“ vor. Der russische Bekannte der Protagonistin hat ein Problem: seine Frau hat ihn verlassen. Jetzt sollen die Protagonistin sowie ein Deutscher ihm helfen, die Frau zurückzuholen.

Die Rubrik „Übersetzungen“ weicht diesmal vom üblichen Schema ab. Unsere Leserinnen und Leser finden dort einen Essay von **Alexander Lackmann** über die Poesie **Friedrich Nietzsches**. Nicht alle wissen, dass Nietzsche auch ein Dichter war. Darüber kann man etwas in dem Essay erfahren. Im Text erscheinen die Gedichte in den zwei Sprachen. Alle Übersetzungen stammen vom Autor des Essays.

Die Moskauer Kunstwissenschaftlerin **Svetlana Tarkhanova** hat für „Berlin.Berega“ einen Artikel gefunden, der „Das deutsche Itinerarium **Fjodor Dostojewskijs** aus der Sicht eines Kunstwissenschaftlers“ überschrieben ist. Dort erzählt die Autorin von den mehrmaligen Deutschlandreisen des Autors der fünf großen Romane. Was er und seine zweite Frau sahen und welche Eindrücke sie bekamen — darum geht es in dem Artikel.

Mark Kharitonov, Schriftsteller, Dichter und Übersetzer aus Moskau, stellt seinen Essay „Das Drama **Robert Musils**“ vor. Im Prinzip geht es nicht um sein Werk „Der Mann ohne Eigenschaften“, sondern um dessen Autor. Man kommt jedoch an diesem Buch, einem der größten Romane des 20. Jahrhunderts, nicht vorbei. „Den Roman selbst liest sich manchmal wie ein grandioser Essay. Man kann ihn überhaupt als einen Essay verstehen, der in Form eines Romans geschrieben wurde“, meint Kharitonov zu Beginn und entwickelt dann diesen Gedanken weiter.

Der Berliner Literat **Michail Rumer-Sarajev** verfasste den Beitrag „Anrecht auf eine Veröffentlichung“. Dort geht es um die Geschichte der russischsprachigen Presse in Deutschland (mit besonderer

Betonung der Literaturzeitschriften). Zudem greift Rumer-Sarajev einige Fragen des gegenwärtigen Autors, seiner Bedürfnisse und Rechte auf.

Sechs von Geburt russischsprachige Autoren, die jetzt in Deutschland leben und auf Deutsch schreiben, erzählen in Rahmen eines Rundgesprächs von ihren Erfahrungen mit dem Schreiben in einer fremden Sprache. Die Fragen beantworten Prosaistinnen **Lena Gorelik**, **Marina B. Neubert**, **Lubov Goldberg-Kuznetsova**, **Irina Bondas**, der Prosaist **Dmitry Vachedin** sowie der Dichter **Alexander Filyuta**.

Der Chefredakteur der Literaturzeitschrift „Berlin.Berega“ **Grigorii Arosev** hat die bekannte Übersetzerin **Vera Bischitzky**, Redakteurin und Literaturwissenschaftlerin interviewt. Vera Bischitzky hat unter anderem Werke von Anton Tschechow, Nikolai Gogol, Iwan Gontscharow, Swetlana Alexijewitsch übersetzt. Im Interview erzählt sie über ihre Kindheit in Ost-Berlin, ihre Beziehungen zur russischen Sprache sowie Details aus ihrer Arbeit als Übersetzerin russischer Klassik.

Dr. **Erdmute Lapp** (Universität Bochum) bespricht das neue Buch von **Lena Gorelik** „Null bis unendlich“.

Die Moskauer Ko-Autoren **Vladimir Zabalujev** und **Alexei Zenzinov** stellen einen Teil ihres ungewöhnlichen Theaterstücks „Der deutsche Rus“ vor. Der Feldmarschall Münnich, eine historische Figur, der um 1740 ein russischer Fürst war, lebt bereits seit zwanzig Jahren in sibirischer Verbannung. Genau zu dem Zeitpunkt, als er schon fast alle Hoffnung aufgegeben hat, bekommt er einen Hinweis, dass die Kaiserin Elisabeth gestorben ist und der neue Kaiser Peter III. ihn nach Sankt Petersburg einlädt.

Информация о подписке

Вы можете подписаться на литературный журнал
«Берлин.Берега», начиная с любого номера.

Печатная версия:

Актуальный номер: 10 евро

Годовая подписка (2 номера, начиная с текущего): 16 евро

Стоимость каждого ранее выпущенного номера (наличие уточняйте в редакции): 7 евро.

Все цены указаны для **Германии**. При заказе из других стран просьба уточнять цену в редакции.

Электронная версия (страны ЕС):

Актуальный номер: 3,5 евро

Годовая подписка (2 номера, начиная с текущего): 6 евро

Стоимость каждого ранее выпущенного номера: 2,5 евро.

Электронная версия (РФ, Украина, Белоруссия):

Актуальный номер: 40 рублей

Годовая подписка (2 номера): 70 рублей

Стоимость каждого ранее выпущенного номера: 35 рублей

Для подписки на журнал или покупки отдельных экземпляров
просьба отправить запрос на электронный адрес
berlin.berega@gmail.com или почтовый:

Maria Aroseva
Schieritzstr. 8
10409 Berlin



ISSN 2366-3510 berlin-berega.de